

**СИН
ТАК
СИС**



30



СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

30

ПАРИЖ

1991

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд**

Московский представитель журнала – Татьяна ТОЛСТАЯ

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1991

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

tel: (1) 46.61.28.38

Александр Агеев

ЗИМНИЕ СТАНСЫ В ПРОЗЕ

Зима. Что делать...
Пушкин

1. ХАНДРА

Жизнь в России никогда не была особенно уютна. Сейчас, помимо всего прочего и несмотря на непредсказуемость, она стала еще и скушновата. Все правильные слова сказаны и не услышаны, все разумные проекты внесены и отвергнуты. Авторы слов и проектов, гордые и печальные, вышли вон. Кто-то молча, кто-то — хлопнув дверью.

На поверхности продолжается судорожная, эпилептическая суета. Беспорядочная стрельба и нелепые указы изредка взбадривают общественный азарт, но темперамент игроков и болельщиков уже не тот, что прежде.

Главным делом огромной страны стало ожидание. И это не привычное ожидание чуда о пяти хлебах. Это, без сомнения, ожидание развязки. Любой.

Очень похоже на очередь к онкологу — очередь длинная, и потому скушно, хотя и страшно. И чем дольше страшно, тем больше скушно.

Где вы, гости с Запада, утешавшие нас так трогательно и осторожно: дескать, жить у вас трудно, но весело? Впрочем, бог с ними, с гостями, потому что не только ведь страшно и скушно — еще и стыдно.

Либеральная интеллигенция хандрит. Это вот что означает: идет, например, серьезный духовно-практический разговор. Тонус высокий, проблемы важные, перспективы обнадеживающие. И вдруг, посреди разговора, в какой-нибудь случайной паузе вспухает тусклое облако как бы нервно-паралитического газа и — пропади все пропадом! О чем это мы? О новом журнале? О Солженицыне? О проекте новой российской конституции? Но ничего этого нет, клубится какой-то грязный пар, и под ногами кислая слякоть. Хандра.

Хандрить в столь великие времена как-то неприлично. Хочется скрыть это малопочтенное состояние духа. Впрочем, для самооправдания можно и хандру подвергнуть анализу, разложить на составляющие и назвать их вполне приемлемыми с точки зрения важности переживаемого момента именами. Можно, например, поговорить о тревоге за судьбу непоследовательного и противоречивого процесса, идущего в России, о том, как мало отпущено ему времени. Тревога — штука неизъяснимо благородная. Можно даже сказать о страхе — нет, не за себя, конечно же, — о страхе перед неизбежными муками, которые суждено претерпеть многострадальному народу на избранном пути. Можно, наконец, сорваться гневом на негодяев, сующих палки в колеса прогресса, выразить презрительную жалость к дуракам, ложащимся на рельсы. И т.д., и т.п.

Все это хорошо звучит на площади, пристойно смотрится на газетной или журнальной полосе, — словом, там и тогда, где и когда человек пребывает в спецодежде (бронжилете?) такой еще пока новой у нас, такой волнующей кровь публичности.

А лично, сокровенно, наедине с самим собой испытываешь — что же врать! — вот это самое: унижительную апатию, малодушную ("пропади-оно-все-пропадом!") хандру. Причем она, бывает, ничуть не мешает самой что ни на есть лихорадочной деятельности. Настолько не мешает, что думаешь: уж не стимулирует ли ее? То есть пишутся статьи, говорят речи, принимаются законы, рождаются партии и декларации, а внутри, в полости, все быстрее расширяющейся, — тихонько ноет: "Неужели опять все зря?" Впрочем, уже и вслух, и все громче, а

особо темпераментные непатриотично добавляют: "Проклятая страна! Гиблое место!"

В самом деле. Где твердь среди этой хляби? На что опереться, с какого утеса продекламировать любимое из Лютера и Мандельштама: "Я здесь стою...?"

На парламенты всех уровней больно смотреть. Стоило менять диссидентские свитера с кокетливо заплатаанными локтями на полосатые думские визитки, чтобы служить доказательством сугубой демократичности происходящего и слышать удовлетворенный голос какого-нибудь Лукьянова: "Решение не принято!" Еще хуже, когда решение — замечательное решение! — принято. Идешь тогда по улице и читаешь в угрюмых глазах соотечественников: "Ну и что?"

Стыдно смотреть на Президента. Бог его знает, что он там думает про себя и чего на самом деле хочет. Вполне возможно, что он — очередной "кремлевский мечтатель". Но ведь этот Манилов даже не помещик, а крепостной, он пленник, данник и вассал собственного народа, малость растерявшегося в голодных просторах свободы и требующего от апоплексического начальства: "Поди туда, не знаю куда..."

Смешно слышать из уст либеральных лидеров о консолидации. Какая консолидация? Упаси бог! Как только мы консолидируемся, сразу станет видно, как нас мало, сразу вспомнится Сенатская площадь и нерешительные бунтовщики, консолидировавшиеся по романтическому чертежу в обреченное каре. От этой дворянской геометрии так и веет политическим салоном Анны Павловны.

Решительно не на что опереться. И поэтому все ждут развязки, все торопят счетную комиссию. Прогрессивные тележурналисты, зеленоватые от бессонницы, смотрят в казенную камеру с тихой укоризной и нетерпением. На экранах случившееся в Вильнюсе и Риге подается как повсеместно ожидаемое — вот "они" давят "нас" танками и бьют прикладами, а "мы" отвечаем ангельским пением. В кулуарах всяких шумных собраний появились люди с радостными, просветленными лицами. О чем они тихо и доверительно беседуют? О том, как их всех скоро посадят. Новая возможность открывается в карьере среднего интеллигента, сказавшего за шесть лет "перестройки и гласности" несколько неосторожных слов — "пострадать" ни за что, оседлать почтенную традицию.

Апокалипсис разобран на цитаты. Поучительно помавая перстами перед носом друг у друга, его вдохновенно перевирают идейные противники, ходившие в один детский сад. Увидим ли митинги под лозунгом "Пусти серп свой и пожни!"?

Но вот ведь в чем главный фокус — ожидая развязки и цитируя Апокалипсис, больше иного прочего все боятся догадки о том, что ничего по-настоящему серьезного и переломного так и не случится, о том, что огромное и сырое тело этой страны будет гнить безобразно и долго, потому что сил только и осталось на бездарные танковые маневры, парализуемые ангельским демократическим хором. О том, что в обозримом историческом будущем — ни "мы их", ни "они нас"...

Догадка, в самом деле, ужасная, обесмысливающая жизнь нескольких поколений, превращающая недавнюю эйфорию в трагический фарс. Тоже мне, "минуты роковые", растянутые на сто лет... Знали бы, начиная, — харчей припасли бы...

Отсюда коварный соблазн — подтолкнуть историю. Бросить какой-нибудь необыкновенный лозунг, за которым пойдут все. Создать какую-нибудь супер-экстра-демократическую партию на десять миллионов персон, чтобы она сказала, наконец, веское, последнее слово могучим партийным басом. Чтобы она трудовой, мозолистой рукой... ну, и так далее. Многоточие.

Как тяжело, с другой стороны, уходить с карнавала в боковые тихие улицы, с вершин творящейся на глазах истории — в скучные долины "частной жизни", тем более что в долинах темно, мусорно и неудобно. За шесть лет карнавала все отвыкли ходить прямо, говорить тихо и читать толстые книги. Последнее смешнее всего, потому что и сыр-бор разгорелся едва ли не из-за толстых книг. Все шесть лет эти самые толстые книги прилежно издавались, и вот они стоят на полках — красивые, дорогие, нечитанные, а в зубах у алчущего интеллигента тощий еженедельник с очередной порцией общеобязательного нынче *что делать*...

2. ЖАНРЫ

"Что делать" я не зря пишу курсивом, со строчной буквы и без вопросительного знака. "Что делать" — это не название. Это жанр, по законам которого создаются две трети публицистических произведений, появляющихся в последнее время на шестой части суши.

Как литературовед по основной специальности (то есть той, за приблизительное владение и профанацию которой мне платит государство), я могу засвидетельствовать, что жанры рождаются гораздо реже, чем умирают, что исчезновение и размывание того или иного привычного жанра — процесс совершенно нормальный и достойный лишь индифферентной констатации. Но вот *рождение* и активная экспансия в литературу нового жанра — это ЧП, требующее нетривиальных размышлений, некоторой литературно-политической рефлексии, поскольку сигнализирует о появлении в массовом сознании каких-то новых (пусть относительно) напряжений.

Всякий литературовед — классификатор и систематизатор, и нет для него ничего сладостнее этой работы — распределить хаотическое многообразие возникающего явления по тем или иным рубрикам. В самом деле — между архаически-императивным "Как нам обустроить Россию" вермонтского отшельника и аскетически-прагматичным "Что делать?" нынешнего московского мэра — бездна вариантов и редакций, да и за ними — пристойными — целая непристойная бесконечность в характерном спектре от экзотического нежно-коричневого до родного кроваво-красного. Это ежели "отслеживать" только непосредственно-содержательный аспект. А если в качестве рубрикатора принять характер эмоциональной окраски, то кстати окажутся замечательные русские части речи — всякие указательные слова, частицы, неопределенные местоимения и прочие маргинальные штучки, несущие такую важную нагрузку при деле создания неповторимой интонации. Вслушайтесь: от уравновешенного толстовского "Так что же нам делать?" (вечность в запасе у гения) через растерянность нынешнего "Что же делать?" к требовательному отчаянию уже близкого "Что делать-то?"

Но отдаться полностью сладостному литературоведческому зуду мешает одно чувство, приступы которого знавал автор другого знаменитого русского вопроса — Александр Иванович Герцен. Чувство это он выразил однажды по-аглийски — *very dangerous!!!* — найдя, очевидно, русский эквивалент ("очень опасно") не слишком выразительным. Действительно — в России всевозможные "очень опасно" нарисованы на всех заборах и на каждом втором столбе. Если обращать внимание на всякий казенный трафарет этого смысла, то жизнь российского гражданина чрезвычайно усложнится, ибо зиждется она

как раз на нелегальном преодолении заборов и обходе столбов по известной поговорке "закон — что столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно". Надпись же иностранная имеет шанс вызвать почтительное недоумение, даже паузу для заглядывания в словарь, чего вполне достаточно для простейшей сублимации криминальной энергии и уяснения смысла предостережения.

Но что за опасность гнездится в неокрепшем ядре новорожденного жанра?

Дети за родителей, конечно, не ответчики, но не снятся ли вам иногда сны Веры Павловны — наяву? Не случилось ли вам темной российской ночью повстречаться с "особенными людьми" — лихими ребятами из "партии нового типа"?

Да-да, именно это я и имею в виду — у жанра, к сожалению, скверная наследственность, и я убежден, что она себя рано или поздно проявит, какое бы воспитание ни дали младенцу — северо-восточное (военно-православное) или нашенско-плюралистическое (гуманно-либеральное). Рано или поздно сакраментальное словосочетание услышится с тем универсальным акцентом, на который вольно или невольно провоцируют. "Што дэлать? — удивится поздний продукт вполне предсказуемого процесса. — Как што? Вы-палнять указания Палитбюро..."

Упаси бог — у меня и в мыслях нет усомниться в благородстве намерений Александра Исаевича или Гавриила Харитоновича, а также изрядного количества других публицистов, озабоченных настоящим и будущим страны. Многие пункты и параграфы их предложений мне даже очень нравятся, и я готов, как некогда выражались, "споспешествовать" их воплощению в жизнь. Но если бы эти пункты и параграфы, выстроенные в железной последовательности и собранные в великолепные гипотезы, так и оставались произведениями деловой прозы! Увы, они очень скоро, упав на хорошо мелиорированные поля нашей политической антикультуры, превращаются в элементарные партийные программы. А программа любой партии, имеющей неосторожность родиться на нашей почве, еще долго будет представлять собой богослужебную книгу.

Конечно, есть "что делать?" и "что делать". Я лично с тем большей симпатией отношусь к произведениям данного жанра, чем более жирным знаком вопроса венчается их заглавие. Я верю — часто наивно — что этот знак свидетельствует о склонности автора к благодетельному, творческому сомнению. Но, к

сожалению, штатный знак гораздо чаще осеняет вполне ленинскую энергичную уверенность, нежели трудную работу ищущей и спотыкающейся мысли. Впрочем, зачем лукавить? Ведь и этот мой выбор — не более чем рефлексия исследователя. Огромная бронированная сороконожка массового сознания, столкнувшись с любым "что делать", пожирает и переваривает все, кроме знака вопроса, и вряд ли нужно объяснять, почему.

Страна, где столько разных, но одинаково энергичных людей знает, что делать — опасная страна. Никто из тех, кто хоть немного знаком с ее недавней историей, не поверит, что энергия, переполняющая ее сегодня — энергия созидательная. Всякое, даже самое благородное "что делать" в силовом поле этой энергии будет соответствующим образом отсепарировано, и на выходе останутся только те детали программы, из которых можно собрать пулемет. И, если вам не очень по душе пулемет как способ ответа на сакраментальный вопрос, подождите немного с вашим проектом машины времени — неровен час, именно он, наскоро подогнанный лихими умельцами под различные материалы, может превратиться в чертеж пулемета.

В русской философской публицистике была некогда целая традиция отвода знаменитого вопроса. Проще всех расправился с ним, как известно, блестящий нигилист Василий Розанов. "Что делать?" — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — "Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай". Но Розанов, похоже, немножко опоздал к нашему столу — нет уже на нем ни варенья, ни чая, и гораздо ближе к нам оказывается философ, не так тесно связанный с иссякающей органикой быта — Владимир Соловьев. Он размышлял обо всем об этом под свежим впечатлением деяний ближайших потомков "особенного человека" и ближайших предшественников "партийцев нового типа" — в самом начале 80-х годов прошлого века. "Вопрос этот, — писал он тогда, — является сначала в ложном смысле. Есть нечто ложное уже в самой постановке такого вопроса со стороны людей, только что оторванных от известных внешних основ жизни и еще не заменивших их никакими высшими, еще не овладевших собою. Спрашивать прямо: что делать? — значит предполагать, что есть какое-то *готовое* дело, к которому нужно только приложить руки, значит пропускать другой вопрос: готовы ли сами делатели?"

Между тем, во всяком человеческом деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса: что делать и кто делает; плохой или неприготовленный работник может только испортить самое лучшее дело. Предмет дела и качества делателя неразрывно связаны между собой во всяком *настоящем* деле, а там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит”.

О том, что “делателя” в масштабах, потребных для такой страны, нигде нет, знает каждый, прикосновенный хоть к какому-нибудь “настоящему” делу. Сказки о неисчерпаемых запасах народной талантливости, ожидающих лишь свободы, чтобы развернуться — сказки, столь популярные в первые годы “перестройки и гласности”, что-то поутихли. Стали яснее размеры “антропологической катастрофы”, случившейся у нас, вскрылась подлинная глубина одной красивой неправды, в которую так тепло было верить. Я имею в виду убеждение многих и многих в том, что опыт катастрофы — чуть ли не золотой запас нашей нынешней и нашей грядущей духовности, что к нам в очередь за этим бесценным опытом еще выстроятся благополучные народы, не имевшие счастья почти погибнуть. Насчет народов не знаю, вполне возможно, а вот мы — уж такая тут диалектика — обнищали именно на сумму нашего катастрофического “золотого запаса”. “Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря”, — писал Варлам Шаламов, заплативший за эту простую истину талантом и разумом, не говоря уж о жизни.

Словом, “делатель” не готов, и неизвестно, родились ли уже его родители. Но, порассуждав отвлеченно об антропологической катастрофе, об истощении генофонда и прочем, о чем принято рассуждать, мы все-таки садимся за письменный стол и пишем какое-нибудь роскошное “что делать”!

А может быть, думаю я иногда, “что делать” — это жанр-наркотик для тех, кому повезло при катастрофе? Подумайте, как тяжело — просыпаться каждое утро все в той же толпе лукавых рабов, видеть все ту же моисееву пустыню, и так — библейские сорок лет... Кто же с радостью и без сопротивления способен бросить себя — уже все-все понимающего! — навозом на каменистую почву для проблематичного и через сорок лет возрождения?.. Нет, пожалуй, никуда нам не деться от новых и новых “что делать”, ибо не может живой человек не тосковать в пустыне, не окликать подобных себе, не мучиться верой, надеждой и любовью.

Одно можно предложить в качестве трезвой, холодной альтернативы в печати и в жизни — жанр "чего не делать". Организующим принципом для него хорошо послужит модификация известной лагерной заповеди: "не верь, не бойся, не проси". Не верь тому, что цель близка и для ее достижения нужно лишь устранить кое-какие препятствия, кое-что "сделать"; не бойся времени — ты все равно не успеешь; не проси прав, которые не на что употребить в пустыне.

3. НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Сосед по лестничной площадке, пенсионер-вольнодумец, шепотом пересказывает мне на ухо содержание "секретного" доклада Хрущева. Мои студенты-пятикурсники с легким азартом хоронят "социалистический реализм" и не одобряют Горького, неудачно пошутившего насчет врага, который не сдается. Мои коллеги — доценты и профессора, собравшись в курилке, увлеченно сбрасывают Ленина со всех пьедесталов и ядовито прохаживаются по адресу "преступной партии", из рядов которой только что с облегчением вышли. Рядом не знавшие лиха аспиранты сурово судят Бердяева за непреодоленную "розовость", а также цитируют Хайека и Фукуяму из последних номеров философского журнала.

Прошумела "неделя просвещения" — шесть лет непрерывной эскалации "гласности".

Итог, подведенный накануне неизбежного "дня седьмого": каждый поднялся на ступеньку, и первые последним так же далеки и враждебны, как и шесть лет назад. Понятно, что я не о тех немногих, кому некуда было подниматься. Впрочем, и они имели возможность обогатиться неким новым знанием, — оценить, например, степень действительного влияния свободного слова на умы, сердца и поведение своих соотечественников.

И что же? Можно, пожалуй, сказать, что влияние это было столь же огромно, сколь и ничтожно.

С одной стороны, образовался довольно приличный рынок информации, потенциально доступной всем, с другой — цена правды на этом рынке по-прежнему выше цены свободы. Миф о единственной, слепительной, достающейся герою ценой рядом великих подвигов правде не поколеблен, имя ее — на всех знаменах и на всех устах. Она — огромное, румяное яб-

локо раздора, вокруг которого крутится перманентная резня, грызня и потасовка. Понятно, что это яблоко, даром что оно из папье-маше, не достанется никому. Разве что придет, как бывало, милиционер и отнимет. Тогда будет опять не драка на рынке, а газета "Правда" в каждом доме. А в сущности, правда — это то, что похоже на меня и мои мысли, и борьба за правду — это борьба за монополию. Значит, разоряются мелкие фирмы, становятся банкротами психи-одиночки, торгующие экзотическим товаром, и на месте живописных лавочек воздвигается супермаркет со знакомым шрифтом на фронтоне: "Правда". А напротив — точно такой же убедительный с надписью: "Вся правда", а несколько поодаль третий, и на нем неотразимое: "Ничего кроме правды".

А зачем мне монополия? Как это зачем? Вы только гляньте на эти рожи напротив. Вы думаете, им нужна правда? Им нужна власть, и милиционер у них на содержании.

Свобода — это совсем другое. Она не имеет к правде ни малейшего отношения. Свобода — это когда меня не раздражает замшелое вольнодумство соседа-пенсионера и мне не хочется доказать ему, что один генсек стоит другого. Свобода — это когда студент, сдавая мне экзамен, не старается угадать, на чьей я стороне в нынешней драке за правду. Свобода — это когда полное равнодушие к правде не наказуемо ни морально, ни материально. Свобода — это единственно возможная форма нормального общения между теми, кто сражен, как громом, откровениями Никиты Сергеевича, и теми, кто наслаждается своим полным согласием с Хайеком и Фукуямой.

Чтобы отхватить свой кусок правды и быстро обожраться ею, тревожно озираясь, вполне достаточно недели просвещения.

Чтобы обрести свободу, придется, вслед за всем миром, пережить долгий, скушный, пресный век просвещения. Только представьте: мелкий шрифт энциклопедий; сводящие с ума таблицы спряжений и склонений; казарменная тоска бесконечной гимназии; ненавистный мешанин, листаящий толстую газету в поисках колонки биржевых новостей.

И чтобы воистину возжелать всего этого, нужно до предела изнемочь в пыльной, грязной, кровавой, героической драке за правду...



Иваново

Мих. Городинский

ПОГОНЯ

Дело было вечером. Не такой уж поздний был вечер, но почему-то казалось, что уже глухая-глухая ночь. И еще почему-то казалось, что и утра больше никогда не будет, нынче было последнее. Что вся эта привычная кутерьма с восходами и заходами тоже взяла да кончилась, сколько можно. К тому же с неба что-то все время падало. Не то дождь со снегом, не то снег с плевками.

И вот именно в такой вечерок угораздило Кукуева возвращаться домой.

— Будешь кровью истекать, никто двери не откроет, — правильно думал Кукуев, поглядывая на многоэтажные жилые дома.

Вдруг он почувствовал, что сзади кто-то за ним идет и очень испугался. Даже удивительно, как смог Кукуев на таком большом расстоянии это почувствовать и сразу так сильно испугаться. Может, такой удивительный дар достался Кукуеву по наследству, генетически. Или был он просто самородок.

Но что еще интереснее, Мамаев, — так звали человека, шедшего за Кукуевым, — испытывал страх ничуть не меньший. Вероятно, причиной была спина Кукуева — еще пяток лет назад спина бы как спина, а нынче какая-то криминогенная. А, может, шея.

И вот в таком состоянии продолжали они идти вперед. Ку-

куев в ожидании, что сейчас Мамаев налетит сзади. А Мамаев, что, наоборот, Кукуев сейчас зайдет за угол, там его дождется и...

— И ведь, как назло, при деньгах сегодня, — подумал Кукуев, нащупывая в кармане свои два восемьдесят. — Хорошо еще, что ничего съестного не несу. Говорят, третьего дня одного мужика за десяток яиц шпокнули. Четыре яйца он-то хоть съесть успел, со скорлупой, а остальные, бедняга, не успел. Вот ведь как на желудок народу надавили! И раньше-то совести не было, а теперь с голодухи последнюю отшибет.., — рассуждал Кукуев и, чтобы как-то себя подбодрить, тихонько запел знакомую с детства лирическую песню: "И как один умрем, в борьбе за это!"

Тем временем, Мамаев, чтобы тоже немного успокоиться, решил закурить. Он отыскал на дне кармана заветный хабарик, аккуратно завернутый в рубль. Хабарик был жирненький, увесистый, длиной сантиметра два вместе с фильтром. Мамаев уже собирался закурить, но вдруг вспомнил вчерашнюю развлекательную телепередачу, где рассказывали, что в Ленинграде один ленинградец убил другого ленинградца за бутылку.

— Если в Ленинграде за бутылку, то, значит, в Москве уже могут и за хабарик, как-никак столица, — правильно рассуждал Мамаев, по-быстрому засовывая хабарик обратно, на дно кармана. На всякий случай, он присыпал его сверху мелочью.

При переходе дороги, Кукуеву пришлось пропустить какую-то большую тяжелую машину. Почему-то он подумал, что это танк. Но приглядевшись, облегченно вздохнул: это была самая обыкновенная баллистическая ракета средней и большей дальности. Она тоже возвращалась домой — из Европы. А может, погостив немного дома, уже ехала обратно в Европу.

В общем, после встречи с родимой ракетой дистанция между Кукуевым и Мамаевым значительно уменьшилась, и теперь оба боялись друг друга еще сильнее.

Кукуев почти перешел на бег.

— В конце концов есть же еще интеллигентные люди, то есть не бандюги, — все уговаривал себя Кукуев.

Но тут он услышал за спиной дикое с присвистом дыхание Мамаева, тоже со страху перешедшего на бег. Дышал Мамаев действительно ужасно, точно выполнял программу "пятьсот дней" в одиночку и дошел как раз до сорокового дня. Кукуев не слышал, чтобы в конце двадцатого века люди все еще зани-

мались людоедством. Правда, чтобы в конце какого-нибудь века в мирное время почти что триста миллионов людей думали и говорили только о еде, Кукуев тоже не слышал. И, видимо, поэтому ему почудилось, что сейчас огнедышащий Мамаев не ударит его чем-нибудь тяжелым сзади-сверху, а просто вопьется в него зубами сзади-снизу. Поэтому Кукуев стал слегка выгибаться — как бы клонясь назад от сильного встречного ветра, и — как бы от ветра бокового — разворачиваться боком. Чтобы возможный укус простого советского людоеда пришелся в тазобедренную кость — ее не жалко.

Увидав такие страшные движения впередибегущего, Мамаев понял, что жить ему осталось недолго. И, как часто бывает в последние мгновения, Мамаеву захотелось выкрикнуть людям что-то главное, выстраданное, самое-самое. Еще годика три назад в такую вот минуту Мамаев бы без раздумий крикнул соотечественникам:

— Люди, будьте бдительны! Не дайте садистам и негодям затоптать нежные ростки демократии!

Теперь же Мамаеву хотелось сказать соотечественникам только одно: "Люди, будьте бдительны! Отоваривайте талоны на спиртное в начале месяца, потому что конца месяца может не быть!"

Вот так, гонимые холодным ветром и лютым страхом, бежали два человека по пустырю, на котором при желании можно было бы запросто расселить и трудоустроить какое-нибудь государство типа Лихтенштейн или, прости Господи, Гваделупа.

Потом, на развилочке, Кукуев рванул направо, к своему дому, а Мамаев погнался прямо, к своему. Горячий трудовой пот заливал им глаза, потому оба были уверены, что погоня продолжается.

Уже в своей парадной, карабкаясь по лестнице, Кукуев подумал, что, если останется сегодня в живых, то сразу напьется горячего зеленого чая, а потом по новой традиции соберутся они всей семьей на кухне и с задушевными песнями будут сушить на зиму черные сухари.

Мамаев тоже предвкушал, как, если добежит, включит телевизор, сядет на стул, достанет хабарик, затынется некогда братским болгарским табачком — чтобы унять немного свое политическое волнение и не порубить топором телевизор вместе с парламентариями.

Поэль Карп

ОТ НАУКИ К УТОПИИ И ОБРАТНО

1.

На недавнем Пленуме ЦК КПСС ректор Академии общественных наук Р.Г. Яновский говорил: "Томас Мор 450 лет тому назад, будучи лордом-хранителем печати, за коммунистические убеждения был казнен. Но он спокойно шел на это, чтобы отстоять свое мировоззрение".

Можно бы заметить, что Томаса Мора казнили отнюдь не за знаменитую "Утопию", — книга, напротив, его прославила и послужила его государственной карьере. А жизнью пришлось заплатить за нежелание признать, что светский государь, Генрих VIII, некогда возвысивший мыслителя до первой подле трона должности лорда-канцлера, вправе взять на себя верховное управление церковью, принадлежащее римскому престолу. Томас Мор пошел на эшафот, чтобы отстоять свои католические убеждения, и в 1935 году, отмечая четыреста лет со дня его казни, католическая церковь не зря его канонизировала. Но член-корреспондент АН СССР Р.Г. Яновский не просто перепутал лорда-канцлера с лордом-хранителем печати и католические убеждения с коммунистическими, он открыто призвал ЦК КПСС равняться на святого Томаса Мора, словно бы забыв, что современное коммунистическое движение все же ведет свою родословную от совсем другого человека, на святость не претендовавшего.

Мечта об идеальном обществе давно пленяла людей. "Утопия" или, как порой переводят, "Нигдея" не только изложила

эту мечту, но и дала общее имя подобным мечтаниям. Общественное устройство, отвечающее понятиям мечтателей о справедливости, но не имеющее опоры в жизни, поныне зовут утопическим. Однако в середине прошлого века Карл Маркс обнаружил предпосылки реальной социальной справедливости. Движению от Томаса Мора к Карлу Марксу Ф.Энгельс посвятил известную работу "Развитие социализма от утопии к науке". Но исследование дальнейшей судьбы социалистических идеалов и реальностей было в нашей стране табуировано, и даже ныне мало кто с такой прямоотой, как Р.Г.Яновский, признаёт, что представления о социализме на деле ориентированы у нас не столько на науку Маркса, сколько на утопию Мора. Будем же за это признание благодарны.

Маркса у нас винят во всех бедах минувших семидесяти с лишним лет. Но справедливо ли это? Марксова уверенность, что социализм — не просто хорошее общественное устройство, которое людям стоит выбрать, как считали утописты, но что к нему приводит объективный ход развития капитализма, исходила из осознания предела возможностей отдельной коммерческой сделки и, в частности, покупки и продажи рабочей силы как якобы достаточной для стабильности социальных отношений. Маркс понял, что обществу, ничего кроме таких сделок не знающему, грозит неизбежный кризис и распад производства, во избежание которого необходимы общественные гарантии каждому человеку в масштабах прежде неведомых и немислимых.

Западный мир, изучавшийся Марксом, и в самом деле преодолел свои кризисы тем, что создал могучую систему социальных гарантий, хоть и сделал он это по-иному, чем виделось Марксу. Социальные гарантии там, прежде всего, не единообразны, — имеет место и государственное вспомоществование разных видов, и социальное страхование, и традиционная благотворительность, позволяющие не только не погибать с голоду, но и, скажем, при скромной зарплате лечиться в дорогостоящих больницах с новейшим оборудованием. Сегодня в развитых капиталистических странах нагляднее, чем где-либо, проступают зримые черты настоящего социализма, то есть признания и исполнения обществом определенных обязанностей по отношению к каждому своему гражданину.

Наивно, конечно, думать, что нынешний западный мир и есть осуществленная надежда Маркса, — реальный ход истории не столь прост, чтобы его могли предусматривать в деталях и самые большие мудрецы. Называя тамошний порядок социализмом, стоит оговаривать, что это капиталистический социа-

лизм, в отличие от утвердившегося у нас феодального. Но и в учете открытий Маркса и в преодолении его заблуждений этот капиталистический социализм был куда прозорливей нашего. Жизнь к тому же показала, что социалистическое преобразование общества начинается не после революции и наступает не в результате планомерного строительства, а идет во многом стихийно в недрах прежнего общества, подобно тому как в недрах феодального мира совершались буржуазные преобразования.

Столкновение экономических, буржуазных порядков с внеэкономическими, феодальными, вело к революции, то есть присущее феодализму насилие рано или поздно вызывало контрнасилие. Отсюда, однако, еще не следует, что и переход от сугубо буржуазных отношений к социалистическим тоже непременно должен быть насильственным; да и вообще при современных производительных силах природу этого перехода вряд ли правомерно определять лишь по образу и подобию предыдущего. И сам Маркс допускал, что в Англии или Америке с их глубокими демократическими традициями переход от капитализма к социализму может осуществиться без революции.

Столетнее развитие внесло, конечно, существенные коррективы во многие положения Маркса. Одни оказались просто неверными, — в частности, теория абсолютного обнищания пролетариата. Другие, относительно справедливые для своего времени, не являются всеобщими законами, — в частности, уверенность, что источником стоимости служит лишь физический труд. Третьи были изначально не вполне разработаны, — в частности, теория земельной ренты и вообще аграрного производства. Пересмотр, а порой и преодоление ряда выдвинутых в XIX веке положений лишь обогащают социологическую науку, одним из столпов которой Маркс, однако, остается поныне. И остается не только как инициатор материалистического понимания истории вообще, но и потому, что на практике подтвердилось важнейшее его конкретное соображение: обществу не выжить в стихии одних лишь частных коммерческих сделок, и крушения оно избегает только при социальной защите всего круга своих членов, начиная с наемных рабочих.

Уже поэтому всемирный интерес к теории Маркса не был ни случайностью, ни плодом недоразумения. Но в массовом восприятии нередко самое существенное упускалось, а ошибки и заблуждения тиражировались. Теория Маркса — прежде всего теория развития. Марксу недаром нравилась параллель между ним и Дарвином. Историю общества он считал органичным процессом, а ее закономерности, хоть и совсем иные, по-

добными закономерностям естественной истории. Маркс и подумать не мог, что, ссылаясь на его авторитет, кто-то станет приклеивать гусенице крылья в надежде, что, минуя стадию куколки, она превратится в бабочку и полетит.

Между тем, Маркса читали не только там, где бурно развивался капитализм и нарастало социал-демократическое движение, но и там, где капитализм делал еще первые шаги. А ведь как раз в подобную пору писал свою "Утопию" Томас Мор! Его, убежденного гуманиста, страшили и огораживания, пускавшие по миру крестьян, и обнищание ремесленников. В противовес надвигавшимся буржуазным переменам он и сочинил свою книгу о прекрасном острове, которого нет на свете, но где люди счастливы, работают лишь по шесть часов, делают что хотят, и пользуются всем по потребности, при том, правда, что потребности у них более чем скромные. Трудно также упустить из виду, что на этом острове справедливости и равенства, не знаящем буржуазной частной собственности, есть зато рабы, выполняющие грязную работу.

Осуждать Томаса Мора, напуганного жестокостью перемен и надеявшегося, да и то не слишком, на то, что старый порядок усовершенствуется и как-то приблизится к идеализированно-гуманному образу жизни, нам, понятно, не стоит. Но не стоит и забывать о его примере, поскольку и при жизни Маркса, и в наши дни буржуазные отношения распространялись по свету, жестоко разрушая прежний, хоть и нестерпимо тяжкий, но традиционно-привычный феодальный уклад. И множество людей в поисках спасения обращало взоры к утопиям, но множество и к достаточно реалистичным для высоко развитого Запада социальным теориям и, в частности, к Марксу. При этом, однако, его теория чаще всего теряла исторический характер, и к ее идеалу, как к острову Томаса Мора, жаждали пройти прямым и быстрым путем, ожидая, что море раступится.

Вопреки массовой уверенности, что неисчислимые беды навлек на Россию догматический марксизм, русский марксизм менее всего был догматическим. Он не то что пересматривал теорию Маркса, но часто просто отбрасывал, использовал лишь выборочно отдельные ее положения, не считаясь с основными ее принципами. "Марксизм — не догма, а руководство к действию", — провозгласил человек, при жизни провозглашенный классиком марксизма, и вырванными из контекста суждениями Маркса или Энгельса обосновывал немислимые для них шаги. К тому же раздробленность Германии, бурное буржуазное развитие одних ее земель и торжество феодальной реакции

в других в саму теорию Маркса внесли отчасти уже упомянутые заблуждения, и в странах, где феодальная реакция была еще круче, легче усваивались как раз уязвимые стороны теории и трудней — сильные и дальновидные.

Антибуржуазное движение против едва оперившейся буржуазии, шедшее под социалистическим флагом, сперва во многом сливалось с демократическим антифеодальным движением. Однако побеждая, разрушая феодальные институты, оно пресекало и оживлявшиеся без них буржуазные отношения, и, тем самым, под другими именами и в других формах, фактически реставрировало феодальные отношения, поскольку для собственно социалистических, если следовать Марксу, никакой реальной базы там не было и быть не могло.

Теория "слабого звена", выдвинутая Лениным, и впрямь помогала партиям нового типа захватить власть в полуфеодальных, а часто и в не нюхавших буржуазного развития странах; победители искренне верили, что устанавливают желанный социалистический строй, и, как всякие фанатики своей веры, они из лучших побуждений переступали ради нее прежние этические нормы, полагая, что берут на себя грех во имя спасения будущих поколений. Однако реально складывавшийся при наличных производительных силах и навязанных им производственных отношениях новый порядок мог, если опять же следовать Марксу, только сменить правителей и систему распределения, как это случалось уже и в средние века, но не изменить природу общественных отношений.

В предсмертных статьях и заметках Ленин, ощутив это, заговорил о необходимости изменить всю точку зрения на социализм, что, конечно, было результатом осознания объективной необходимости вместе с Марксом признать социализм явлением сугубо постбуржуазным. НЭП еще предоставлял возможность развития, позволявшего нашей стране как-то приблизиться в дальнейшем к элементам социализма, утвердившимся ныне на Западе. Однако столь радикальный пересмотр опыта послереволюционных лет без Ленина по разным причинам не осуществился. Политическая практика в очередной раз пренебрегла теоретическими соображениями, тем более, что выдвинувший их вождь был уже мертв. А выход из кризиса стали искать, ускоряя движение в противоположную указанной Лениным сторону, по-прежнему именуя социализмом продолжение "военного коммунизма". В конечном счете и понятие "социализм", и теория Маркса, и развешенные повсюду портреты Ленина стали знаками и псевдонимами сталинской феодальной реакции.

В двадцатые годы атака победителей, часто тоже несправедливая и неоправданно жестокая, направлялась против правой части политического спектра, то есть в соответствии с провозглашаемыми лозунгами, а на левом преследовались преимущественно лидеры, продолжавшие требовать демократии. Но уже в тридцатые самым страшным грехом не случайно стала причастность к революционному движению — даже в рядах большевиков, не говоря уже о меньшевиках или эсерах. В середине века положение сына жандармского полковника было куда перспективнее положения сына революционера-каторжанина, уже расстрелянного, или сына героя-красноармейца, давно раскулаченного. Власть беспощадно уничтожала тех, кто способствовал ее установлению, наглядно демонстрируя изменение своей природы. Социализм как общественный порядок, при котором свободное развитие каждого должно было стать условием свободного развития всех, перестал быть идеалом. Об этом главном стремлении "Коммунистического манифеста" при Сталине и не вспоминали, зато удалявшуюся от этого идеала реальность объявили социалистической. Сперва сказали, что социализм построен, потом, уже после Сталина, назвали его реальным, потом развитым.

Несостоявшийся социализм прошел у нас как бы обратный путь от начавшего подниматься капитализма предвоенной России к феодальному порядку особого рода: уже не один герцог владел землей и не один граф — людьми, но целые бюро коллективных герцогов и комитеты коллективных графов. Социалистический идеал взаимопомощи наложил на феодальную традицию, и возник общественный строй, которому наименование "феодальный социализм" подходит уже потому, что социальные гарантии в нем существуют, но — распространяясь преимущественно на партийных герцогов и графов да на состоящих при них номенклатурных дворян. И такой порядок не просто злостная выдумка, а естественный результат "военного коммунизма" и пресечения НЭПа, в частности, ликвидации свободного крестьянства, при всех возможных оговорках, обретенного землю и самостоятельность главным образом в ходе революции, и объединение предприятий в хозяйственные монополии, именуемые министерствами.

Наиболее четко и откровенно принцип неофеодального порядка выразил лидер московской "Памяти" И.С.Сычев: "Народная монархия и социализм". Понятно, создатели этого порядка не могли столь же откровенно признаться в разрыве с лозунгами 1917 года, и тем упорной твердили о своей верности Марксу и Ленину, чем дальше от них отходили. И все же идеал

социалистической монархии, выбалтываемый ныне "Памятью", отчетливо проступал в идеологических установках Сталина, Жданова, Суслова, Ильичева и в утверждаемом ими социальном устройстве, которое, поскольку монархия была народной, придавало функции монарха самому мудрому, самому любимому, всеведущему и всемогущему вождю всех времен и народов, всеобщему отцу, творцу и учителю.

Квалификация этого порядка как "утопии у власти", завоевавшая популярность на Западе, явно недостаточна, коль скоро порядок этот достаточно долго существует на самом деле. Необходимо сознавать его природу, сознавать, как совершился переход от научной теории Маркса и антимонархических стремлений Ленина к идеологии Суслова, Ильичева и Сычева. Сколько бы заблуждений и упущений мы ни обнаружили у Маркса и еще больше у Ленина, наивно свести к ним причины подобного поворота миллионов людей в разных странах. Видимо, все же сам ход социальной жизни там побуждал держаться именно за заблуждения и упущения, оправдывавшие неофеодальное устройство, и не вспоминать о пронизательных предвидениях тех же Маркса или Ленина, наперед разоблачавших сложившееся у нас устройство. Не зря аналогичные устройства возникли и в других местах, где ни Маркса, ни Ленина не читали или не почитали, а в почете были совсем другие авторы, на которых, однако, тоже можно было сослаться в оправдание общественной практики.

2.

Если через двенадцать лет после буржуазной революции, через восемь лет после допущения, вслед за трехлетней паузой, буржуазных отношений, началось контрастирование феодальной реакции, предпосылкой нормальной жизни должна бы, казалось, стать коренная дефеодализация, завершение дела 1861, 1905, 1917 годов, и, в принципе, так оно, конечно, и есть. Однако поныне этому препятствуют не только государственные институты, поставленные охранять неофеодальный порядок любой ценой, но и общественное сознание. Наше неравноправное иждивенчество остается для многих граждан общественным идеалом, хоть не все столь решительно, как И.С.Сычев, его защищают. Такое иждивенчество осуществлялось за счет общей заниженности оплаты труда, возможной в силу тотальной монопольности хозяйства да растраты национальных богатств, прежде всего сырьевых. И поскольку распределение, подменя-

ющее реальный заработок, у нас не зависит от адекватного стоимостного вклада в распределяемые фонды, общественный протест против явной несправедливости часто сводится к требованию иного распределения или перераспределения, то есть иной несправедливости.

Распределение, — и это важно сознавать, — не исчерпывается кормлением новых герцогов, графов и дворян, имеющих как бы естественное право на прибавки из "общего котла" в силу своей партийности, номенклатурной значимости, чистоты "пятого пункта" или принадлежности к высокопоставленной семье. Имеет ведь место общее внеэкономическое перераспределение национального достояния между социальными слоями и внутри них. Отсюда массовая нищета крестьянства и интеллигенции за вычетом их верхнего слоя — председателей спецколхозов да академиков и лауреатов литературы и искусства. Неадекватно и распределение среди рабочих, одни категории которых оплачиваются выше, чем другие, лишь потому, что внерыночное хозяйство не имеет экономических стимулов к развитию производства или добыче сырья, и они усиливаются в тех или иных направлениях просто по желанию исполнительной власти, преследующей при этом нередко лишь политические цели, без объективных потребностей общества и обратной экономической связи.

Внеэкономические привилегии и преимущества пронизывают все наше общественное производство, весь общественный порядок и все общественное сознание. Социальные слои, пользующиеся привилегиями, в том числе и трудящиеся, которым они перепадают, заинтересованы в незыблемости строя и не видят нужды задумываться об источниках распределяемых богатств, поскольку вообще освобождены от мысли о завтрашнем дне. Сторонники уравнительности вроде бы противостоят сторонникам привилегий, но на деле тоже мыслят в рамках внеэкономических распределений, лишь по-иному понимая справедливость.

Социальные схватки, конечно, расшатывают нефеодальный порядок, но не выдвигают ему реальной альтернативы, поскольку само протестующее сознание остается феодальным. В этом-то и слабость нашего демократического движения, поддерживающего уравнителей в их правой неприязни к привилегиям, но уходящего от выяснения природы общества, жаждущего и дальше держаться всеобщими перераспределениями вместо восстановления условий для продуктивного труда и пропорционального ему заработка.

Казалось бы, давняя ленинская идея отступления к бур-

жуазным отношениям ныне, когда феодальный характер общества еще очевиднее, чем в ту пору, когда Ленин такого отступления потребовал, вновь актуальна и, кроме открытых реакционеров, все так или иначе говорят нынче о рынке. Однако понимание того, что он собой представляет, что предстоит изменить, чтобы он стал возможен, и как совершится переход к нему, остается смутным. Мы все не хотим признавать, что переходим к рыночным отношениям не столько от социализма, сколько от феодализма.

Различимы основные концепции перехода. Одна вообще не опускается до социально-экономических проблем и не берет в расчет опыт человечества и даже нашей страны. Ее авторы, именующие себя профессиональными политологами, полагают, что рыночное хозяйство возникает лишь при диктатуре. Экономическая демократия на их взгляд не только не нуждается в политической, но даже с ней несовместима. А ведь буржуазные революции, как известно, совершались как раз во имя расширения политической демократии, без которой тормозилось экономическое развитие. Понятно, демократия утверждалась не в один миг, после Великой революции 1789 года Франции понадобилась и буржуазная революция 1830 года и буржуазная революция 1848 года, но демократическая тенденция вела к развитию рынка, что явно противоречит произвольным схемам наших политологов.

Строго говоря, даже диктатуры, возникавшие тогда в ходе революций, носили, как правило, более демократический характер, чем свергнутые ими монархические режимы, — достаточно сравнить кодекс Наполеона с предреволюционным законодательством и тогдашней практикой. С другой стороны, диктатура Сталина или Брежнева менее всего способствовала созданию самостоятельного хозяйства, и новый диктаторский режим, пусть даже провозглашающей самые добрые намерения, не имеет шансов обрести народное доверие, без которого хозяйственная деятельность, ориентированная на рынок, многого не сулит.

Неправомерны и ссылки на Франко, Пиночета и других генералов, при которых рынок и впрямь стабилизировался, поскольку там ему надлежало не возникать почти заново из тотального государственно-монополистического хозяйства, а лишь сыскать выход из очередного кризиса. Да и способствовала этому не так сама диктатура, как привходящие обстоятельства. Политологическая концепция якобы необходимой для перехода к свободному рынку диктатуры, сознают это ее авторы или не сознают, на деле — лишь форма теоретического отказа

от свободного рынка, прельщающая тех, кто сообразил, что перестройка не обойдется аппаратной "революцией сверху", что риск противоречивых народных действий весьма велик, и страх побуждает искать городского, который все равно не спасет.

Согласно другой концепции, при переходе к рынку необходимо удержать мнимые преимущества феодального социализма перед капитализмом ("отсутствие эксплуатации", на самом деле утробной!) и ради этого сохранить директивность ("планово-рыночную" экономику!), то есть, попросту говоря, допустив рынок, следует ему непрерывно указывать, как, чем, почему, кому и в каких количествах торговать. Здесь исходят из допущения, что неофеодальная структура сама по себе хороша, да вот, в силу посторонних причин, плохи оказались злощастные "аппаратчики", издающие неудачные декреты. Однако никаких гарантий, что новые декреты окажутся более здоровыми, не может быть, а что до своекорыстия "аппаратчиков", то оно коренится не в их якобы имманентной безнравственности, а в избытке внеэкономического командования, неизбежно влекущего к возникновению теневой экономики, растлевающей не только государственный аппарат, но и прочих граждан.

В сущности, нам предлагают еще раз проследовать под флагом утопического социализма к уже обретенной феодальной реальности. Продлить ее век, конечно, можно. Этому послужит и денежная реформа, уничтожающая сбережения населения, и свобода ценообразования при сохранении тотальной государственной монополии, и оставление государственного банка в руках правительства, позволяющее ему печатать деньги "по потребности", и, разумеется, противоправная деятельность правоохранительных органов. Зайца еще какое-то время можно гнать дальше, но в итоге нынешние проблемы станут только еще острее и, может быть, губительнее.

Есть, впрочем, и третья, еще более циничная концепция, по которой государство в очередной раз вызывается для нашего же блага само провести в жизнь неблагоприятные последствия, которые неизбежно начались бы при переходе к рыночной экономике, и в частности, резко поднять цены, отложив при этом на долгий срок допущение самой рыночной экономики, реальную передачу земли крестьянам и ликвидацию промышленных монополий-министерств. В этом случае, подобно тому как социализм стал некогда псевдонимом феодализма, рыночная экономика станет у нас лишь новым псевдонимом директивной, и в очередной раз свалив на граждан грехи государства и ограбив их, государственный ветер вернется на круги своя, и мы опять будем называть рабство свободой.

Трем охранительным концепциям противостоит четвертая, откровенно радикальная. Она предполагает всеобщее и полное господство частной собственности, дарующей якобы гарантированное спасение от всеобщей бедности и дефицита, непременных свойств советской жизни. Понять радикалов можно. Руководители страны и придворные экономисты постоянно ссылались на "Коммунистический манифест": "коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности", и, поскольку это теоретическое положение, в отличие от многих других, тоже провозглашавшихся выражающими самую сущность теории, и впрямь было проведено у нас в жизнь, сознание часто видит источник всех бед именно в нем. Однако частная собственность была ведь у нас не просто уничтожена, но заменена государственной, а авторы "Манифеста", хоть и предполагали на краткое переходное время (уж никак не семьдесят с лишком лет!) сосредоточить собственность в руках государства, одновременно предполагали, что с наступлением социализма не станет и самого государства и вообще, став господствующим классом, пролетариат уничтожит "и свое собственное господство как класса".

Для Маркса и для Ленина — чем они, в частности, отличаются от своих последователей в нашей стране, — государственная собственность и после революции являлась буржуазной. Это, понятно, утверждение не бесспорное. На мой, например, взгляд, в обществе, где уничтожается частная собственность, государственная оказывается феодальной. Но, так или иначе, утверждение, что государственная собственность является у нас социалистической, для марксиста абсурдно, поскольку социализм и государство по Марксу, да и по Ленину, несовместимы. Покуда сознание исходит из этого абсурда и не хочет признать, что уже в силу внеэкономически-распределительного характера жалования, выплачиваемого трудящимся и тотальной монопольности, распорядители государственной собственности эксплуатируют человека еще больше, чем владельцы буржуазной, частная собственность сохранит для советских граждан манящую привлекательность. Исключением будут лишь те, кто пользуется привилегиями при распределении национального продукта или еще надеется на его уравнилельное перераспределение.

Однако трудность кажущегося простым одномоментного радикального перехода не исчерпывается необходимостью отыскать тех, кто может в нынешних обстоятельствах стать, хотя бы на время, действенными субъектами рыночных отношений, собственниками и предпринимателями. Важно и то, что после

научно-технической революции в цивилизованном мире желанного крайним радикалам вольного капитализма вообще не стало; это, так сказать, "утопический капитализм", ничуть не менее утопический, чем социализм, к которому, как нам ныне не твердят, если очень захотеть, то есть "совершить социалистический выбор", можно якобы перейти чуть ли не следом за отменой крепостного права.

Общественное сознание, порожденное феодальным социализмом, заблудившись в трех соснах, ищет выход то снова в утопическом социализме, то в утопическом капитализме. Между тем, главная коллизия нынешнего кризиса обусловлена происходившими, покуда мы пытались утвердить свой социалистический выбор, коренными переменами в современном производстве и противоречащими всем традициям нашей страны требованиями, которые оно стало предъявлять к структуре общества, намеревающегося таким производством эффективно и в полной мере овладеть.

Марксистское представление, по которому владелец средств производства, используя приобретенную физическую рабочую силу, не только возмещает ее стоимость, равно как и стоимость самих средств производства, но и присваивает прибавочную стоимость, при всех возможных оговорках недурно отражало ситуацию середины XIX века, когда средства производства с заложенными в них техническими идеями служили достаточно долго. Маркс не зря называл расходуемый на них капитал постоянным. Роль умственного труда в создании стоимости могла тогда казаться не заслуживающей внимания.

Научно-техническая революция с этим покончила. Без непрерывного обновления средств производства предприниматель не может повысить ни производительность труда рабочих, ни качество производимых товаров. Удельный вес стоимостного вклада рабочих в производстве снижается, а техников, инженеров и особенно ученых возрастает. У нас их порой записывают в рабочие, игнорируя иной характер труда, между тем как и рабочие нередко уже заняты скорее умственным трудом. Так или иначе, умственный труд все в большей доле создает стоимость. Часто именно за его счет и возникает прибавочная стоимость, и все лучше оплачивается труд рабочих, прибавочной стоимости часто уже не создающих, работающих только на себя.

Из этого ясно, что сталинская индустриализация, которую мы фактически продолжаем по сей день, рассчитывая на неопределенно долгое, "постоянное", использование средств производства, дала и продолжает давать совсем не тот эффект, ка-

кой ей приписывают. На деле именно она обусловила непрерывное отставание нашей промышленности как по качеству товаров, так и по производительности труда. Подобно демидовским заводам с крепостными рабочими, неэффективное, если честно считать, хозяйство держится у нас так долго лишь за счет почти дарового труда и якобы дарового сырья.

Тут опять следует вспомнить, что, согласно марксистским представлениям, стоимость первоначальных, то есть непосредственно из природы добываемых, продуктов труда сводится к стоимости их добычи, а сами они, как явление природы, стоимости якобы не имеют. Опять же, в середине XIX века, когда земные ресурсы представлялись неограниченными, и захват колоний позволял широко вовлекать их в производство, так оно практически и было. Однако интенсификация промышленности в XX веке показала, что запасы природных богатств и самая природа при ее эксплуатации человеком не беспредельны, и, говоря о прочем, сегодня ясно, что первоначальные предметы труда, вовлекаемые в производство, обладают и собственной стоимостью сверх стоимости их добычи.

Короче, пренебрежение реальной стоимостью производства и сырья ведет к непомерной растрате и труда и природных ресурсов. Сосчитав реальную стоимость всего произведенного с начала индустриализации, мы обнаружили бы, сколь она на деле велика, и нас уже не удивляло бы, что даже такая сказочно богатая страна, как наша, этого более чем шестидесятилетнего хищничества не выдержала. Антифеодальная перестройка, то есть переход к стоимостному ведению хозяйства, была необходима с самого начала индустриализации, а мы приступаем к ней, когда доступные богатства России и ее колоний уже растрачены Сталиным и его наследниками, а добывать уцелевшие обойдется много дороже. Чтобы что-то всерьез изменить, надлежит видеть, почему же система до поры держалась и что привело ее к нынешнему кризису, иначе придется лишь повторять пройденное.

3.

Система феодального социализма стоит на трех столпах. Первый — идеологическое производство. Поскольку общества, ведущие стоимостные хозяйства, все больше смущая наших граждан, демонстрируют явные преимущества в технике и в уровне жизни широких масс, феодальный социализм нуждается в занавесе или стене, скрывающих от граждан происходящее за кордоном. Он нуждается в тайне, в мистике и мистифика-

ции, в прimate потусторонней, устремленной в будущее духовности перед реальной сегодняшней человечностью, абстрактной идеи перед жизнью. Поддерживать феодальный социализм способна лишь ничем не ограниченная власть, и государство обрело у нас неслыханную мощь, контролировало каждый шаг подданных. Для этого потребовались не только соответствующие органы, но и нормативы мышления и поведения и, устанавливая их, наше государство, в отличие от буржуазных, насквозь идеологизировалось. Будь его идеология религиозной, его именовали бы теократическим. Но и светское идеологическое государство претендует на обладание истиной в виде своей нормативной идеологии, и уже поэтому не признает реальностей, идеологией не предусмотренных. Стало быть, необходимо прежде всего деидеологизировать феодальное государство, отделить его от идеологии, от церкви, от партии, проповедующей свою идеологию как обязательную для всех.

Спорят, должна ли КПСС остаться авангардной партией или стать парламентской. Само это противопоставление предполагает авангардность чем-то вроде божией благодати. Между тем, КПСС может, конечно, подчас и лучше других понять реальность и предложить сообразные с ней действия и победить на выборах. Совершенно так же она может совершать ошибки и даже, как показала история, тягчайшие преступления, терять популярность и проигрывать выборы. Смысл претензии на благодать авангардности в том, что партия, непременно владеющая истиной (от Бога или другим чудесным способом), даже и за свои ошибки и преступления не несет реальной ответственности перед доверившимся ей народом, поскольку народ, согласно нормативной идеологии, сам по себе истиной не владеет, и партии или церкви приходится его учить и наставлять даже в преодолении ими же установленных ошибочных норм.

Перестройка предполагает, что народ примет на себя сознательную, а не вынужденную ответственность за свою судьбу, и демократически приведет к власти тех, кто будет осуществлять его стремления, пусть порой даже утопические. Но и народ учится лишь на своих ошибках, и счесть, что он не готов к демократии, означает счесть, что он не способен учиться. Неофеодальное общество как раз и заменило учение усвоением заданных норм. На телевидении часы, отводившиеся прежде марксизму-ленинизму, ныне отведены религиозным проповедям, — от директивных нормативов у нас все еще не отказываются, их всего лишь хотят поменять. Между тем, и христианство, и марксизм и другие умственные течения, конечно,

должны быть открыты людям, но не в качестве готовых истин, а как опыты размышления и душевной жизни, на которые каждый человек при желании может по своему усмотрению опереться, формируя личное мировосприятие. Углубление индивидуальных мировоззрений вместо усвоения нормативной идеологии — первая и непреходящая предпосылка дефеодализации.

Второй столп феодального социализма — тотальное государственное хозяйствование. Сегодня справедливо сетуют на монопольность и, как ее проявление, ведомственность, то есть на принадлежащую нашим монополиям, в отличие от капиталистических, внеэкономическую власть, которая и позволяет так легко отвлекаться от собственно экономических обстоятельств. Всевластие губит наше хозяйство, побуждает вместо экономических, а значит и технологических и социальных решений, принимать директивные: поднять, повысить, укрепить и т.п., и позволяет обрести перевес над соперниками не в состязании, а государственной мощью.

Единство власти и владения, искони присущее феодализму, все же не было столь пагубно в его классических формах, поскольку сельское хозяйство и цеховое ремесло регулировалось традициями, закреплявшими социальное равновесие и обособленность общин, позволяя до поры жить "по воле лорда и обычаю манора". Даже феодальное хозяйство не было тотальным в столь полном смысле, как наше нынешнее. Но с развитием индустриального производства, от которого стало зависеть и сельское хозяйство, с активизацией технологического состязания и непрерывностью обновления, тотальность, единство власти и владения, стала активно препятствовать развитию, нередко создавая лишь его видимость. Не зря наша власть регулярно требует от промышленности внедрения прогрессивных технологий, когда, казалось бы, предприятия, заинтересованные в своем успехе, должны бы внедрять их без понуканий.

Тотальная государственная монополия стала у нас тормозом хозяйственного развития, и нет иного спасения, кроме разлома этой монополии, преодоления тотальности и отделения хозяйства от государства. Без этого никакие реформы не имеют смысла и даже могут быть пагубны. Рынок возникает лишь с появлением административно независимых друг от друга хозяйственных единиц, способных стать субъектами экономических отношений. Их выделение из тотальной монополии именуют "приватизацией". Строго говоря, автономные хозяйственные единицы могут быть и коллективными, и кооперативными.

ми, и акционерными, и если ныне они видятся прежде всего именно частными, причина тому — проверенный на практике характер нашего общественного строя, при котором частные владения присваиваются государством с наглядной очевидностью, тогда как иные могут при этом сохранять видимость самостоятельности.

Колхоз, то есть коллективное хозяйство, мог бы стать субъектом экономики, однако лишь при его независимости от государства и партии; а поскольку они, в лице райземотделов и райкомов, никакой фактической самостоятельности ему не давали и давили его безответственными командами, он утратил способность к подлинно экономической деятельности. Колхоз получал прибыль преимущественно от особо благоприятной природы или при ловком председателе, умевшем отвести или обойти партийно-государственные команды. Вот и трудно сегодня верить в независимость колхоза. Ведь и сегодня, едва в деревне или в городе заходит речь о самостоятельном хозяйстве каких-то людей, связанных с обществом лишь через рынок — их, при малейшем успехе, ввинят в групповом эгоизме и, дабы оный пресечь, вводят удушающие производство налоги и на работников и на предприятие.

Но возможно ли вообще рыночное хозяйство при постоянном обличении в групповом эгоизме тех, кто за счет технологических достижений или просто добросовестного труда стремится повысить свое благосостояние? Ведь не только групповой, но и личный эгоизм предпринимателя принесет ему прибыль лишь удовлетворяя потребности общества. Это внеэкономическое хозяйство позволяет тешить эгоизм, ничего обществу не давая, — через спецмагазины, спецдачи, спецауны и т.п. Рыночные отношения не только проясняют объективную стоимость товара, но приводят тем самым доходы и заработной платы производителя и потребителя в известное соответствие их реальному вкладу в жизнь общества, чего в системе внеэкономического распределения добиться вообще невозможно, если, конечно, не предполагать, что распределением займется всевидящий Господь.

Зависимость каждого от объективных масштабов созданной им стоимости ведет, понятно, к социальному расслоению и социальным конфликтам. Однако природа их уже иная, чем при внеэкономической зависимости от феодала и единстве власти и владения. Справедливость рынка ограничена объективностью оценки общественной необходимостью вклада каждого в национальное богатство и его компенсацией. Рынку дела нет до того, что мешало или помогало этот вклад совершить. Бес-

поощающая к людям, эта система, однако, к обществу как целому куда справедливее феодальной. И, сожалея о ее беспощадности, непременно помогая ущемленным или оступившимся, нелепо восставать против ее объективности, отказ от которой, в конечном счете, ведет к деградации хозяйства. Пренебрежение отличием буржуазного, экономического производства от феодального, внеэкономического, едва ли не корень всех существенных иллюзий и заблуждений современных советских теоретиков социализма.

Научно-техническая революция подтвердила, что интересы предпринимателей и рабочих, инженеров и ученых различны. Но она же показала, что попытки одного какого-то класса внеэкономически добиться недостижимых экономических преимуществ приходят в противоречие с рациональным ведением общего хозяйства — идет ли речь об ущемлении капиталистами рабочих или рабочими — интеллигенции и крестьян. Современное технологическое общество нуждается в постоянной координации классовых интересов, для чего и необходим общественный плюрализм.

С тридцатых годов XIX века сформировалось массовое рабочее движение. Роль теории Маркса и выросших на ее почве социал-демократических партий в учете интересов рабочих и сбалансировании социальных отношений в Европе была, при всех возможных оговорках, велика и благотворна. Но если в XIX веке (хоть это и тогда было неверно) еще можно было в ходе защиты угнетенных теоретически предположить, что рабочий класс, которому Маркс придал мессианское назначение, и впрямь способен отстаивать не только свои, но и всеобщие интересы, то уже в начале XX века стало ясно, что подлинная защита интересов даже и самого рабочего класса возможна лишь при учете интересов других участников общественного производства. Социалистическое движение, за вычетом отколовшихся от него коммунистов, преобладавших в рабочем движении преимущественно тех стран, где рабочие составляли как раз меньшинство, это осознало. Коммунисты, согласно с одной из существеннейших поправок Ленина к теории Маркса, создали партии нового типа и называли социал-демократов соглашателями, но именно их "соглашательство" привело западный мир к сегодняшнему благосостоянию.

Однако, признав, что смысл деятельности партий состоит в достижении подвижного общественного согласия, придется признать, что власть при этом не только должна избираться демократически, но и ни в коем случае не должна оказаться носителем особого, не совпадающего со всеобщим, интереса,

— этим, прежде всего, и отличается буржуазная власть от феодальной. Соединение власти и владения создает у носителей власти такие интересы, которые нередко противоречат интересам даже той социальной силы, от имени которой они к власти пришли и, тем более, интересам большинства. Перестройка покамест не удается от того, что власть и владение фактически все еще совмещаются в виде тотальной государственной собственности.

Дефеодализация на деле начнется тогда, когда граждане и их добровольные объединения смогут свободно действовать как субъекты экономики в рамках закона, а власть, регулирующая их деятельность, ограничится: законодательная — изданием законов, и судебная — заботой о том, чтобы законы исполнялись. А исполнительная власть перестанет быть всевластной, всемогущей, и ограничится защитой общенациональных интересов (иностранное дело и армия), поддержанием внутреннего порядка (милиция), регулированием финансов и социальным обеспечением граждан. Задачи эти, естественно, должны быть поделены между центральной и местной властью, и число министерств сведено к общепринятому минимуму с полной ликвидацией промышленных монополий, выступающих под именем министерств.

Наивно требовать сегодня упразднения государства. Но если мыслители, на которых ссылается наша нормативная идеология, без оговорок объявляли государство орудием угнетения, пора официально признать, что лишь мера отмирания государства служит мерой совершенствования общества. А отмирание государства, то есть сокращение принуждения, возможно лишь при переходе от директивного мышления к экономическому. Но наше общество, наращивая тотальность, двигалось в направлении прямо противоположном тому, какое предполагал Маркс, на которого теперь валят ответственность за все беды. Укрепление государства, рост державности, как раз и явились формой реставрации феодального порядка, установления феодального социализма. Отделение хозяйства от государства, разделение владения и власти, — вторая непременная предпосылка дефеодализации.

Третьим столпом феодального социализма у нас оказалась имперская структура. В отличие от нормативной идеологии и государственного хозяйства тяготение к ней наблюдается не везде и проявляется не обязательно сразу. Камбоджа или Куба ее создать не успели. Но колониальное наследие Российской империи, сперва урезанное, а после даже и расширенное, уцелело, и с ним дефеодализация тоже невозможна. Ей пре-

пятствует и официальное неравенство народов, закрепленное ступенчатой структурой державы — союзные республики, автономные республики, автономные области, национальные округа, народы без территории, и различия в уровнях хозяйственного развития. Следует, однако, помнить, что ущемлены не только стоящие у основания державной лестницы, но и расположившиеся вроде бы на самом верху. Конечно, львиную долю ответственных должностей в стране занимают русские, они же первенствуют в возможности беспрепятственно заселять другие республики, проживая там без знания местного языка и уважения местных обычаев. Однако нередко упускается из виду, что именно за положение "первого среди равных" русский народ платит разорением исконных земель, нищетой и обездоленностью.

Социально-экономические проблемы, терзающие страну, обрели национальное обличье, и почти всякое национальное сознание, при наличии своей исторической территории, — за вычетом русского, — претендует у нас на самодостаточность, не спеша оглядываться на взрастившую его социальную почву. В сознании почти всех наших народов сложилась простая схема, по которой едва ли не единственной решающей причиной социальных неурядиц является национальная зависимость, пагубную роль коей и впрямь отрицать невозможно. Однако растущее отсюда представление о национальном обществе, не знающем социальных противоречий, тоже дает лишь временный ответ на актуальные вопросы.

Вину за все беды у нас нередко возлагают на притесняющий других народ, и часто на весь поголовно. Еще Константин Симонов во время войны призывал: "Убей немца!" ("сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!"), закрывая глаза на то, что около миллиона немцев были узниками гитлеровских лагерей, и значительное их число так или иначе уклонялось от участия в фашистских преступлениях, саботировало их и даже им противодействовало. И ведь в таких, сугубо национальных категориях, мыслил не один Симонов, и не только в трудные часы поражения, — даже день победы был официально поименован "Днем победы над Германией", а не, скажем, "Днем победы над фашизмом"!

В нашей стране существуют неприязнь и недоверие к русским, распространяемые подчас едва ли не на всех поголовно. Причина тому, конечно, и в заносчивости многих русских поселенцев, не желающих овладевать местным языком и т.п., но еще больше в том, что центр у нас русский, что русские все же преобладают в правящем слое, хоть и включающем в себя лиц

всех национальностей страны, и что сверху из центра идут лишь приказы и декреты, и что центр не хотел и не хочет довольствоваться согласованием общих интересов и все время претендует на большее. Отсюда и проистекает распространившееся стремление к национальному самоуправлению, обособлению и отделению. С великодержавным шовинизмом надлежит спорить не о том, существует ли неприязнь к русским, — она явно существует, хоть, понятно, далеко не у всех, — а о том, где ее причины. Ведь породил ее именно великодержавный шовинизм, осуществляемое инациональным центром ущемление национальных прав.

При этом великодержавный шовинизм толкает и русское национальное сознание отнюдь не к заботам о благосостоянии русского народа или развитию русской национальной культуры, хоть о ней временами и говорят с придыханием. Русское со сталинских времен вновь, как при царе, отождествлено с державным, и стремление зависимых наций к самостоятельности вызывает у великодержавных шовинистов не сочувствие, не подражание, а противодействие. Если национализм других народов нашей страны — антигосударственный, антидержавный, то нынешний русский национализм — супердержавный, то есть, по существу, антинациональный, антирусский, — и это великая трагедия русского народа.

Почтение к империи восходит к традициям феодальной реакции, ценившей благополучие державы выше благосостояния народа, не считая народное благосостояние обязательным для державной мощи. Ради империи Ивана IV, Петра I, Екатерины II русский народ был закрепощен и единоплеменников и единоверцев продавали как скот. Об этом стоит помнить считающим нынешнюю трудную жизнь русского народа доказательством того, что наше государство — не империя.

Неофеодальное сознание тоже подменило национальные интересы державными, хоть национальные интересы русского народа противоположны державным не меньше, чем интересы других, которым русский искусственно противопоставлен все ширящейся великодержавной пропагандой. Поньше твердят об особой русской нравственности, по которой русским лучше жить в нищете, и клянут "стремление к изобилию ради изобилия", хотя магазины пусты и невозможно купить самое необходимое. Все это кощунственно именуют "любовью к русскому народу" и "патриотизмом".

Русский народ тоже нуждается в самоуправлении, уже внутри Российской Федерации, а еще лучше — в обретении на равных правах с другими, входящими в нее народами, самосто-

ительной государственности в составе СССР. Пока в противовес великодержавному шовинизму не сложится русское демократическое движение, пока понятие "русское" и "державное", "Россия" и "империя" не будут разделены и на деле противопоставлены друг другу, дефеодализация неосуществима уже потому, что взаимодействие республик останется внеэкономическим, центр по-прежнему будет навязывать республикам производство монокультур или перекрывать нефтепроводы, нанося ущерб не только хозяйству наказуемых республик, но и русским предприятиям на русской территории, нуждающимся в экономических связях с другими республиками.

Чтобы сложившееся при феодальных порядках неравноправное сообщество народов не распалось, оно должно перейти к сугубо экономическому взаимодействию на добровольных и взаимовыгодных началах, а место державы должно занять равноправное содружество, связанное конфедеративными или договорными отношениями, как в Европейском сообществе. Ирония в том, что обрести самостоятельность республикам нужно именно затем, чтобы укрепить экономические связи. Поскольку это не было своевременно сделано внутри Союза, тенденция к выходу из него обострилась, но смысл ее в укреплении содружества: надо разделиться, чтобы объединиться теснее, но иначе. Конечно, это было бы легче сделать раньше, и можно только пожалеть, что республики своевременно не обрели реальную самостоятельность, — при ней они едва ли спешили бы нынче отделяться. Но прибалтийский опыт показал, что центру, считающему себя стоящим над республиками, а не выполняющим их совокупную волю, имперская модель, даже при конфронтации, милей согласия, основанного на отказе от диктата. Антилитовскую кампанию, последовавшую за провозглашением компартией Литвы самостоятельности, одной некомпетентностью не объяснить. Демонстративный отказ от уважения воли коммунистов Литвы во главе с популярным и в народе А. Бразаускасом явно вел к власти в республике более радикальные силы, но центр гнул свое, словно именно этого хотел. Между тем, сохранению содружества способствуют лишь те, кто стоит за свободное, — согласно с 72 статьей Конституции СССР, а не позднейшими ограничениями, — обретение любой республикой полного суверенитета. А развалу содружества — те, кто силой удерживает прежний порядок, ожесточая тем самым межнациональные отношения. Понимание этого и полный отказ от диктатов и блокад во имя взаимности — третья неперменная предпосылка дефеодализации.

Дефеодализация — главная и все обостряющаяся потребность нашей страны. Она возникла, в сущности еще в 16 веке, когда возобладали не буржуазные отношения, начинавшие складываться не только на Западе, но и на Руси, а феодальная реакция Ивана IV. Эта потребность обострилась, когда на Западе происходила промышленная революция, грозившая феодальной России отставанием и упадком. Однако ни Сперанскому, ни Александру II, ни Витте, ни Столыпину, ни Ленину, при всех их разнообразных условиях, провести и закрепить корейскую дефеодализацию не удалось. Наступление второй промышленной, научно-технической революции довело сегодня потребность в дефеодализации до крайности. Сталинские шарашки, при всем блеске заключенных там умов, еще слабей компенсировали феодальное торможение, чем в свое время демидовские заводы. Не будет преувеличением сказать: либо дефеодализация, наконец, свершится, либо Россия будет обречена на прозябание, либо она погибнет, быть может, потянув за собой остальной мир.

На смену нынешнему порядку выдвигаются десятки разнообразных моделей. По просветительскому доверию к независимости разума от реальности у нас полагают, что достаточно избрать хорошую модель, и все образуется. Вот и предпочитают то китайскую, то шведскую, то утопический социализм, то утопический капитализм. То руководство страны, то оппозиционные силы предлагают очередной единственно правильный путь и под избранным флагом требуют всеобщего единства. Великую задачу дефеодализации опять примеряют к "единственно правильной", хоть и постоянно пересматриваемой цели. Среди единственно правильных проектов есть уже не только сталинские, но и откровенно фашистские и монархические, легко находящие точки соприкосновения со сталинскими.

Между тем, — и именно этим поучителен европейский опыт, — сегодня даже капитализм и социализм не столько на смерть противоборствуют, сколько, соперничая, взаимодействуют. Оттого-то в европейском мире и нет единственно правильной модели, которую надлежит навсегда перенять или навсегда отвергнуть. Развитие Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов разом демонстрирует параллельные варианты мирного развития общества. Сообразно с конкретным состоянием конкретной страны большинство ее жителей, демократически выражая свою волю, то доверяется пекущимся о свободном предпринимательстве и повышении эффективности

производства, то, напротив, укрепляющим социальную защиту трудящихся. Оттого там и существуют, если не прямо две партии, то две группы партий, — партия личных инициатив и партия социальной стабильности, партия свободы и партия гарантий.

Когда социальные гарантии не в меру обременяют и начинают тормозить производство, подпиливая сук, на котором они держатся, большинство склоняется к тому, чтобы гарантии несколько сократить во имя развития производства. Когда беспощадность производства подрывает гуманистические основы общества и, тем самым, с иной стороны ставит под вопрос самую возможность его существования, большинство склоняется к тем, кто требует укрепления гарантий. Этот принцип маятника, принцип общественных качелей, позволяет относительно безболезненно выправлять жизнь по реальному состоянию экономики и общественных нужд. А наши смельчаки, — и в правительстве, и в оппозиции, — все ищут верный образец. Но дело не столько в том, на кого равняться, сколько в том, сохраним ли мы возможность, ощутив исчерпанность избранного варианта, мирно, без катаклизмов, склониться в другую сторону. Это самое главное. В стремлении к дефеодализации необходимо, прежде всего, отказаться от поисков единственного, навеки избранного правильного пути, и оценить великую значимость свободного и демократического предпочтения, то есть впервые в нашей истории взять принцип маятника за основополагающий.

Понятно, такое решение требует глубокого социального компромисса и вообще сознания значения компромисса как основы общественной жизни. Партии гарантий (социалистические, социал-демократические, лейбористские, во многом и Демократическая партия США и т.п.) отнюдь не стремятся уничтожить групповую и частную собственность, хоть нередко развивают государственную. Партии свободы (консерваторы в Англии, ХДС в Германии, республиканцы в США и т.п.) отнюдь не упраздняют социальные гарантии, хоть порой их и поджимают и сокращают. И те и другие, помня о сторонниках, не теряют из виду склонившихся вчера к противникам.

В итоге решающая роль в общественной жизни достается не принципиальным однолюбам, а рядовому беспартийному гражданину, при каждом очередном голосовании заново соизмеряющему собственное положение, состояние страны и конкретную деятельность партий, то есть голосующему вчера за лейбористов, сегодня за консерваторов, а завтра, может быть, опять за лейбористов. Этот беспартийный человек, обществен-

ную индифферентность которого у нас любят преувеличивать, как раз и является первым лицом общественной жизни, поскольку сам решает за себя, на себе испытывает последствия своих решений, и может их в следующий раз изменить или подтвердить. Именно в этом залог подлинной стабильности общественного порядка, не препятствующей, однако, развитию общества. При однопартийной системе ни граждане, ни власти этого, естественно, не сознавали, но не сознают и нынче, хоть уже зарождается многопартийность.

Многочисленные новые партии тоже пока больше заняты своими идеальными моделями, чем насущными нуждами беспартийного человека — рабочего, крестьянина, солдата, инженера, научного работника, художника, офицера, пенсионера. Свет в окошке — по-прежнему Томас Мор, только уже не единственный, а целая их галерея. Но ни реакционеры, ни реформаторы толком не говорят, как поведет дело дальше, не придется ли вновь заводить рабов и откуда рабы возьмутся, не станут ли опять рабами граждане, как это произошло и в шестнадцатом и в нашем веке, — вот где корень общественной неуверенности. Беспартийный человек — и литовец, и узбек, и русский — не хочет быть рабом, он хочет честно трудиться для себя и своей семьи, а не приносить непрерывно очередные жертвы во искупление очередных "ошибок" руководства. Не стоит записывать этого беспартийного человека в обыватели. Пора усвоить, что его стремления правомерны и, чтобы с ними считались, как раз и надобны демократия и законность.

Сегодня, когда хозяйственные отношения извращены многолетним внеэкономическим управлением, люди больше надеются на партию свободы, от которой ждут сообразности с реальностью. Но стоит наперед сознавать, что на следующий же день обнаружится, сколь не проста для множества людей, привычных к государственному иждивению, реальность, до которой нас довели. Боязнь безработицы ведь вызвана тем, что труд числящихся работающих часто не продуктивен и, когда платить начнут по труду, они пострадают, даже если формально по-прежнему будут числиться рабочими или служащими. И они пойдут за теми, кто посулит им прежнее иждивенчество, хоть ресурсы растрочены и содержать иждивенцев в таком количестве уже невозможно. Сочувствующих ОФТ, или "инициативной" РКП или "национально-патриотическим" силам рождает страх быть снятыми с иждивения. Тяга к сталинизму идет от того, что привычку к казенному кормлению за счет растраты национальных ресурсов не одолеть. Вот сталинисты и тормозят перемены в экономике, сознавая, что появление альтерна-

тивы иждивенчеству, возможность заработать самим, да побольше, чем подавали прежде, сбросит сталинизм с политической сцены. Для этого мало напоминать о преступлениях Сталина, надо прояснять социальное содержание сталинизма, его феодальную природу, и воевать не столько против мертвого Сталина, сколько против живого партийного феодализма.

Недоверие к социальному мышлению, фальсифицировавшемуся десятилетиями, стало у нас почти всеобщим. Не зря вместо социологов популярны политологи, ищущие чисто политического разрешения кризиса, не входя в социально-экономическую реальность, сводящие зачастую все зло к деятельности некоей злокозненной мафии и ожидающие спасения от ретивых следователей, палачей и диктаторов, которые на деле, что бы ни обещали, лишь воротят страну к внеэкономическому порядку. В движении к нему, пусть совершенно того не сознавая, Нина Андреева и Андраник Мигранян — едины. Сугубо политическое мышление не позволяет, однако, и более трезвым людям противостоять своим безоглядным союзникам, чтобы нащупать путь, пусть не к единству, конечно, с политическими противниками, но к парламентскому взаимодействию по принципу маятника.

Консолидацией у нас все еще называют полное единство во всем, а не конкретные компромиссы конкретных людей по конкретным вопросам. Говорят: нам нужно единство, а разные фракции и партии ему мешают. Мысль о том, что настоящее единство тогда лишь и наступает, когда разные фракции, и партии и республики осознают, что кроме различий, у них есть и общие интересы, у нас плохо осваивается. Единство понимается как подчинение, послушание, в лучшем случае, как доверие кому-то одному, а не как плод самосознания, дорожащего и своим особенным и общим с другими.

Не зря у нас как раз сторонники свободы, депутаты межрегиональной группы, как это ни парадоксально, выступили инициаторами президентского правления, да и на Съезде, его учреждавшем, возражали только против избрания первого президента Съездом, а не народом, но не против самого этого института, нашей стране никак не подходящего. Радикально отвергая все авторитеты своих оппонентов, никто из наших демократов не вспомнил, что при создании Советского Союза Ленин полагал, что у федерации равноправных народов не может быть единого главы, и его функции должны поочередно исполнять представители четырех республик, вступивших тогда в Союз. Это уже при Сталине появился единый всесоюзный староста, а при Брежневе еще его первый заместитель, поднятые

над представителями республик. Дальнейшее укрепление личной власти главы государства над республиками, уже самой политической структурой приглушающее собственные голоса республик, тем более не может не тормозить преобразование страны, даже если высший пост займет сам инициатор ее преобразования, ибо демократия по своей природе — не дело одного человека и не может быть персонифицирована. В том и состоит отличие демократии от диктатуры, что она лишает нас возможности свалить с себя ответственность за происходящее и кивать на диктатора, лишившего нас слова.

В то же время сами инициаторы перестройки уже выступили с открытым письмом от имени ЦК КПСС, фактически призывающим к изгнанию из партии до XVIII съезда сторонников демократического преобразования, никак одновременно не задевая право-радикальную часть партии, организовавшую, вопреки решениям самого ЦК, "инициативный" съезд РКП в Ленинграде. Да и роль рядовых коммунистов и первичных организаций, вопреки всем разговорам, так и не стала решающей. В Ленинграде подавляющее большинство делегатов областной конференции по-прежнему было избрано на районных конференциях, и пост Первого секретаря обкома КПСС занял человек, которому его первичная организация отказала в мандате.

Подобные примеры обнажают смысл происходящей в стране политической борьбы. Наивно сводить ее к желанию отдельных функционеров сохранить важные должности. Борьба идет, прежде всего, за сохранение самих этих должностей и их неправомерного сверхконституционного значения, даже если их займут другие люди. Перед нами не просто циничные карьеристы, как можно решить по неразборчивости в средствах и готовности достичь желаемого любой ценой, а, если угодно, убежденные сторонники феодального правления, рассматривающие коммунистическую партию лишь как его инструмент. Потому-то, требуя идеологической строгости, они равнодушны к конкретной окраске идеологии, — лишь бы годилась в нормативные, и с одинаковой легкостью пользуются положениями Сталина или Жданова, Гитлера или Розенберга, самодержавия и православия, а если понадобится, даже исламского фундаментализма. Открытой, уже не только политической, как при Сталине, но и чисто идеологической смычкой с фашизмом и монархизмом фактически исчерпывается потенциал самобытного псевдосоциалистического прикрытия феодального порядка, сколько бы он еще ни длился. И это, конечно, само становится толчком к дефеодализации.

Но это же побуждает полней осознать рациональный

смысл социалистической идеи у Маркса и в рабочем движении. Видимо, по мере преодоления феодального наследства, с установлением экономических отношений и достижением на их основе социального компромисса, социалистический идеал и у нас в стране возродится как образ экономически обеспеченных социальных гарантий. И можно допустить, что защищать его со временем будут не только социал-демократические и социалистические партии, которых тоже едва ли пока ждет большой успех, но и демократические силы внутри двадцатимиллионной нынче КПСС, преодолевшие феодальный груз.

Коммунистическая партия не обречена непременно жить феодальным социализмом, маня сторонников государственным иждивением, ставшим уже для широких масс совсем скудным, но может радикально обновиться и снова стать левой партией, какой она окончательно перестала быть с начала насильственной коллективизации. Для этого, конечно, ей придется на деле вернуться к научному пониманию социализма. Он ведь и терял при ее правлении ожидаемые черты в силу отречения от фундаментальных положений, которые позволяли считать теорию Маркса пусть и далеко не во всем верной, но научной.

Уже РСДРП (б) отбросила марксово представление о возникновении социализма на высочайшем взлете буржуазного развития и взялась его устанавливать в полуфеодальной стране. Она отказалась и от признания того, что социалистическая революция, как всякая революция, сильна волей народа, а не указаниями всеведущей партии, значение и назначение которой у большевиков было совсем иным, чем у Маркса. Придя к власти на Октябрьском, завершающем этапе буржуазной революции, РКП (б) сочла себя вправе, не спросив у народа, осуществлять преобразования, бесосновательно названные социалистическими. А потом ВКП (б) и КПСС совсем уже позабыли, что установление социализма равнозначно отмиранию государства, и приступили ко всеобщему насилию во имя якобы построенного, реального и развитого социализма. Но научность несоместима с признанием за какой-то группой людей, академией, церковью или партией, особой благодати на владение истиной. И совсем уже нелепы претензии на уникальное откровение в устах людей, именующих себя материалистами.

Все это, конечно, затрудняет обновление КПСС, все еще не способной к внутренней демократизации, и сулит либо расколы, либо, напротив, массовые чистки. И все же исключать в условиях дефеодализации и преодоления внеэкономических отношений возникновение на ее базе не только неонацистско-

го, но и, в противовес ему, демократического движения, было бы, думается, недальновидно. Если оно в самом деле возникнет, да еще сохранит при себе Академию общественных наук, ее слушателям придется объяснить, что великий гуманист Томас Мор своей "Утопией" звал общество не торопиться в неведомое будущее, а старинными методами облагораживать старинные порядки, в самом главном от них не отказываясь. Но рабство ни при каких обстоятельствах не становится дорогой к свободе.

А разве наша страна со времен Ивана Грозного, родившегося за пять лет до казни Томаса Мора, тоже не полагалась на рабство? Разве традиционное насилие не было излюбленным методом российской державы не только тогда, когда она творила зло, но и тогда, когда хотела творить добро, — добро ведь хотели творить и Петр, и Ленин! С желанием быть такой и впредь наша страна прошла сквозь обе промышленные революции и вступила в век компьютера. И обнаружилось, что старые слова о необходимости соответствия производительных (а значит и социальных) отношений развитию производительных сил, повторяющиеся во всех изложениях господствующей идеологии как дань ее происхождению, не просто заклинание, а истина, с которой надо соотноситься, чтобы не погибнуть.

Это ведь и побудило приняться за перестройку, которая имеет смысл лишь как восстановление такого соответствия, то есть полная дефеодализация. Коммунистическая партия обретает при этом возможность возвратиться от утопии к науке, по которой, однако, ее собственное место и роль неизбежно окажутся много скромней первоначального замаха. Как показывает жизнь, согласиться с этим ей мучительно трудно и, устами своего лидера призвав к переменам, она сама на каждом шагу сопротивляется необходимому и для ее собственного спасения. Видимо, немалая ее часть все еще надеется и под новым флагом двигаться по старому пути. Судьба нашей страны зависит от того, возьмет ли стремление к переменам верх или обстоятельства позволят отложить их еще раз до следующего, еще более жестокого кризиса.



Л. Петрушевская

УСТРОИТЬ ЖИЗНЬ

Жила молодая вдова, хотя и не очень молодая, тридцати трех лет и далее, и ее посещал один разведенный человек все эти годы, он был каким-то знакомым ее мужа и приходил с намерением переночевать, вот в чем дело. Вдова, однако, не разрешала ему оставаться, то ли негде, то ли что, отнекивалась. Он же жаловался на боли в коленях, на позднее время. Он всегда приносил с собой бутылку вина, выпивал ее один, вдова тем временем укладывала ребенка спать, нарезала какой-то простой салат, что было под рукой, то ли варила яйцо вкрутую, короче, хлопотала, но не очень. Он говорил длинные речи, блестя глазами, дикий какой-то был человек, знал два языка, но работал ночами по охране учреждения, то ли следил за отоплением, но все ночами. Денег у него не было никаких, а был порядок: он ехал занимал у кого-нибудь малую сумму денег, затем, легкий и свободный, покупал свою бутылку и, будучи уже с бутылкой, здраво рассуждал, что везде он желанный гость, а тем более у вдовы друга, у которой удобная квартира. Так он и делал и по-деловому ехал откуда ни возьмись со своей бутылкой и со своими здравыми мыслями о своей теперь

ценности, в особенности для этой одинокой, для вдовы. Вдова дверь ему открывала, памятуя, что это был мужнин друг и муж всегда говорил, что вот Саня хороший человек, но в том-то и дело, что при жизни мужа Саня как-то редко появлялся на горизонте, в основном только на крупных мероприятиях типа свадеб, куда уже всех пускают, а на дни рождения и всякие праздники типа Нового года его уже точно не звали, не говоря о случайных посиделках и застольях, самом лучшем, что было в их жизни — разговоры до утра и так далее, взаимная помощь, общее лето в деревне, за чем шла и дружба детей и детские праздники: жизнь со своими радостями. Во все это Саня допускаем не был, ибо, несмотря на свой светлый разум математика и знание языков, он напивался по каждому случаю до безобразия и просто начинал громко орать всякую чушь, произносил громовые монологи, безостановочно кричал или пел, и в конце концов мальчики брались за дело и выпроваживали его вниз по лестнице. Он сам не знал, что с ним происходит и в дальнейшем как бы исчез из общего поля зрения, на ком-то женился, привез жену издалека, поселился тоже далеко за городом как молодой научный сотрудник, родил ребенка, начал вроде бы новую жизнь, хозяин себе и своей семье, и все меньше о нем было слышно, как вдруг бац! звонит. Звонит тем и этим, назойливо хочет поговорить, ладно, а потом или занимает деньги, или же уже с бутылкой является в семейный дом, в теплое гнездо, где дети, бабки, тряпки и кровати — с бутылкой, как агрессор, но агрессор потому, что не хотят. Если бы его хотели, звали, усаживали, уговаривали, он бы успокоился и, может быть, сказал что-нибудь путное, даже бы помолчал, даже бы заплакал над собой, поскольку ясно было, что и жена теперь тоже гонит, кончилось его очарование жителя столицы, его английский и французский, его университетское образование и университетский круг знакомых — она, простая молодая женщина с простой профессией учительница, видимо, прозрела, поняла весь ужас своего положения, простые бабы очень быстро все понимают, и она тоже начала гнать его. И все надежды на поговорку типа "мой дом моя крепость" рухнули, а ведь именно это одно и остается человеку, дом и семья, дом и дети, дом свой, койка своя, ребенок свой! Свой и ничей другой, он слушает, разинувши ротик, он покорно ест или ложится спать, он обнимает, прижавшись как птичка, как рыбка, и любит

именно своего папу. Но тут жена как тигр и не позволяет любить ребенка пьяному отцу, вот заковыка. Вот тебе и скандал. И неудивительно, что Саня уезжал и уезжал вон из своего городка и куда — в столицу, и тут повторялась известная история с тем, что его и здесь никто не принимал. Хорошо, он вообще уволился с работы и ушел от жены, все, полный конец, уехал из городка и нашел себе работу в Москве, дежурным при котельной. Вот там и началась его та жизнь, к которой он и был приспособлен и для которой, видимо, он и был рожден, хотя родился в приличной семье строгих уставов и всегда был отличником. Но разум и душа — две разные вещи, и можно быть полным дураком, но с основательной, крепкой душой — и пожалуйста, все будут тебя уважать и даже можешь стать главой нашего государства, как уже бывало. Можно же быть буквально гением, но с безосновательной, ветреной и пустяковой душой и пропасть ни за грош, как уже тоже неоднократно случилось с нашими гениями пера, кисти и гитары — и вот Саня был как раз каким-то гением чего-то, но на работе его не приняли и не поняли, с работой он вечно лез не туда, не в те сроки и не по тем планам, высывался, а потом вообще махнул рукой, и исчезло его второе, после семьи, спасение, завлечь кого-нибудь своей работой, дать понять о своей пользе, о своем даре, о себе. Нет, рухнуло и пропало. Никто не увлекся, никому не нужны оказались его работы, у каждого было маленькое собственное дело, не нашлось сподвижника. А без этого самый даже гений — пустяк. У всех был хоть один, да сподвижник, у всех гениев, хоть жена, хоть мать, свой ангел-хранитель, хоть брат или друг или любовница или вообще посторонняя старуха, которая пожалеет, но Саню не жалел никто. И Саня нашел себя в обществе таких же нестройных, некрепких душ, работников по котельным, подвалам и складам, грузчиков, слесарей, ремонтников и ночных дежурных. Время их было темное, невидимое, не заметное никому, ночью все люди спят, а нелюди ходят, бегают насчет бутылки, собираются, пьют, кричат свои пустяковые слова, дерутся, даже умирают — там, внизу. У всех все было и прошло, осталось только это, и Саня не спит с ними, а потом почистится, помоеется в какой-то чьей-то пустой временной квартире, аккуратный, в очках, чисто выбритый, все они там в подвалах считают своим долгом бриться, бороды презирают, да с бородой и никто на работу в подвал не возьмет, видимо, счи-

тается, что раз бороду не может брить, то уж и вентиль не закрутит и кран оставит: может быть, наследие Петра Первого, недоверие к бороде всего русского народа.

Саня брит, вымыт, глаза сверкают от невольной влаги, как у всех алкоголиков, и звонит по своему ритуалу.

Скажем, звонит этой вдове, что придет. Она отнекивается. Все отнекиваются. Тогда он делает что: звонит теперь уже в дверь. Вдова открывает, а за ней маячат ее мать и ребенок. Что же, дверь открыта, и Саня с порога провозглашает, что приехал на такси и нет ли столько-то рублей. Вдова жмется, у нее и самой ничего нет, но старушка мать с готовностью начинает шарить по карманам, и хоть требуемой суммы не нашлось (Сане нужно столько-то рублей и точно сорок семь что ли копеек), но Саня деньги получил, чинно-благородно откланялся и спустился с лестницы. Далее возникает то, что Саня является через час с бутылкой и тортом. Вдова вся сжимается — Саня теперь останется на целый вечер — но зато старушка мать довольна и даже приятно возбуждена видом гостя с тортом и бутылкой. Старушка мама здесь не живет, у нее своя конура и — о совпадение — у нее тоже какая-то такая же легкая душа, легкая, неустойчивая, крики и слезы по пустякам, явка в любое время к кому угодно, душа странницы. Это только внешне она старушка-бабушка, а внутри там вечный бродяга, суммы переметные, ненасытный голод по обществу: ездит и ездит к дочери, а та в ужасе, поскольку явно старушка с годами становится беспризорной, говорливой, с прокурорскими интонациями, что все ее бросили, с требованиями и проклятиями, а на самом деле ее покормить, обувь-одеть, обогреть, спать уложить, старый ребенок и полнейшая сиротка.

Итак, один дом, одна кухня, одна хозяйка с ребенком и две эти сироты, которые сидят и возбужденно ждут угощения. Бабушка сияет, ее тоже, как-то так сложилось, не больно звали на праздники, она сама являлась, праздники для нее все, весь смысл жизни. Бутылка раскупорена, яйца сварены, капуста нарезана, картошка кипит в кастрюле, и двое беглецов сверкают очками, только у Сани это близорукость, и у него крошечные за семью слоями стекла воспаленные глазки, а бабушка горит огромными очами за своими увеличивающими линзами. В фокусе у них стол, свет, тепло, их обслуживают, к ним как к людям, и уже бабушка заводит, как ей кажется, серьезный и даже

судьбоносный разговор с Саней о том, женат ли он, и выясняется, что уже все, разведен. А что? — явно мыслит бабушка, ей всегда нравились именно те дочкины знакомые, ни к селу ни к городу, которые хорошо, по-пустяковому вежливо, обращались именно к ней, по старинке именно и прежде всего к мамаше — а так и принято у них, с уважением к старым, брить бороду, носить какой-нибудь галстук, несколько правил. Далее Саня разливает всем и, пока бабушка по-девичьи пригубливает а хозяйка разрывается между почитать на ночь дочке, вынуть из стиральной машины белье и звонит телефон, хоп! в бутылке уже на дне и уже Саня громовым голосом излагает бабушке свои последние приобретения в смысле информации — он любит странные факты, он же гений, он много читает и хочет теперь составить книгу кроссвордов, он знает сколько платят за кроссворд, он страшно нуждается, но нужен и нужен компьютер, и у него планы: устроиться на ночную работу в вычислительный центр. Ура! — считает бабушка, и в ее сознании брезжит, что она сейчас устроит жизнь своей одинокой дочери, а дочь как раз говорит по телефону с тем, кто ей дорог, а ребенок кричит, чтобы продолжали читать, и в результате бабушка возникает в прихожей у телефона и, как ей кажется, по-матерински верно говорит:

— Закругляйся, ты что, полчаса тут болтаешь, все ждут еды. Охилела совсем. Ребенок плачет, ты что.

А дочь не слышит, что говорит ей тот, который ей дорог, у них длинный, с замиранием сердец диалог по производственным проблемам, по чьей-то диссертации, не тема важна, а интонация.

— Ты что, — говорит бабушка, — на меня тут шипишь, пора есть! Картошка готова. Надо есть! Почитай ребенку. Поздно, кончай говорить! Он уйдет!

Завершается это тем, что Саня сидит и наоборот, никак не хочет уходить, и "пусть переночует!" — восклицает бабушка, которой тоже не хочется тащиться домой в холодную стариковскую конурку, и для Сани сооружена раскладушка на кухне, а бабушку ждет диван, а хозяйка поспит на надувном матрасе, но Саня все разглагольствует и поглаживает больные колени и не хочет спать: ночь — его царство.

Тем не менее все уложены, погашен свет, как ручей журчит холодильник, по потолку веером расходятся редкие лучи

от ночных машин, блаженно спят изгнанники и бродяги, похрапывает девочка, у нее явно начинается простуда, опять сидеть с больным ребенком и не ходить на работу, оставить дома бабушку, думать на полу хозяйка, это будет фейерверк на две недели, крики, плач и обвинения, а что делать?

А тем двум чудится, что все в порядке, они в теплом доме, им наконец нашлась мать и можно начать жить сначала и все будет как у людей, чистота, семья, праздники, сплошные праздники, пироги на столе, кто-то все решит и так будет, ни страха, ни одиночества, а хозяйка на полу слушает похрипывания ребенка, и слезы текут по вискам.

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ



ДНЕВНИК - 27

ВЫХОДИТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!

Обращаться в русские книжные магазины
и по адресу:

O. Prokofiev,

12 Eliot Vale, London SE3 O UW, England.

Семен Лунгин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Была в свое время в Москве, на Остоженке, Бакунинская лечебница — частная больница, которую держали муж и жена, хирурги Бакунины. А мы жили поблизости, в Савельевском переулке, который почему-то тогда все называли Савёловский. Начало он брал на Остоженке, а потом резким склоном устремлялся вниз, к Москве-реке, и запутывался там во множестве двориков и проходных дворов, где жил всякий ремесленный люд: драпировщики, мебельщики, рамочники, старьевщики и владельцы прачечной — китайцы. Окна прачечной утопали в тротуаре и перед стеклами росла трава. Иногда мы с няней гуляли не в сквере у Храма Христа Спасителя, а внизу, и обычно доходили до китайской прачечной, где в запотевших окнах мелькали жилистые темно-желтые руки из-под закатанных рукавов нижней сорочки, вцепившиеся в длинную рукоятку наполненного раскаленными угольями, многофунтового чугунного утюга. Неровная челка черных волос спускалась на лицо, завешивая его до подбородка. Эти жуткие черные лица и мосластые, цвета палого листа руки, снились мне по ночам, и я просыпался, плача... Внутри дворов этих маленьких домиков теснились садики, росли липы, сирень и жасмин. Громыхали по булыжнику кованые обода ломовых, на телегах вздрагивала раздрызганная мягкая мебель или матрасы с тор-

чащими из прорех грязного полосатого тика стальными спиралями пружин.

— Отойди! — отчаянно кричала няня. — Еще подцепишь каку-нибудь гадость! И оттаскивала меня за рукав.

Была там мастерская по ремонту кукол. Куклы с лысыми головами лежали поперек широкой скамьи и сушились на солнце. Они были все как одна, румяные, красногубые, с синими мушками на щеках. Потом на их лысые черепа наклеивали белые пудренные парики, увитые разноцветными ленточками, и получались Маркизы. Возле них мне стоять разрешалось, и я стоял и глядел до тех пор, пока из соседнего Зачатьевского монастыря не бахал колокол, и тучная няня, крестясь, вела меня домой, задыхаясь на крутом подъеме.

Зимой с этой горы катались на салазках и по воскресеньям собиралось по многу народу. Светило яркое солнце — тогда, помнится, почему-то всегда светило по зимам яркое солнце, сверкал белый снег — тогда в Москве всегда сверкал белый снег, а я сиротливо стоял наверху, у нашего подъезда, и не шевелился, потому что няня держала меня за кашне, крепко, на коротком поводке.

Наступала весна, и по Савеловскому переулку мчались ручьи и трезвонили словно колокольцы. Все кому не лень пускали кораблики и всякий плывучий мусор вроде корабликов, и не успеешь выпустить его из пальцев, как журчащая вода разом обрушивалась с ним в непостижимую глубину и... только его и видели...

Я давно заметил, что взрослые люди, несмотря на свою солидность и степенность, как ни странно, тайно любят всякие детские забавы. Идет, эдак, некий почтенный господин с серьезным видом, уже в годах, и вдруг, увидев черную раскатанную ледяную дорожку, приостанавливается, начинает, будто ненароком, укорачивать шаг, подгадывая, какой ногой оттолкнуться, чтобы одолеть ее из конца в конец. Раз!.. и птицей летит по скользкому льду, потом воровато оглядывается по сторонам, не видел ли кто-либо его запоздалой шалости, и прячет в воротник довольную ухмылку, что не растянулся во весь рост на потеху прохожим. Вот так и с корабликами. Мой дед, пожилой франт в шляпе пирожком и палкой с набалдашником из слоновьего клыка, в такие звенящие, капельные, весенние дни и бросал, норовя угодить в самую стремнину, окурки или там пус-

тые папиросные коробки и пристально глядел сквозь пенсне, как они молниеносно обрушиваются вниз и пропадают навсегда во всплохоченной пене, и глаза его становились печальными, вроде бы он загадывал, удастся ли ему доглядеть за пачкой или окурком до конца или нет. Не удалось. И дед печалился... Мне кажется, что я запомнил его, чуть ли не раньше всех из моей родни.

Я родился в Серпухове, где, по окончании Высших женских курсов, работала врачом моя мама на эпидемии сыпняка. А мой отец служил в Управлении Серпуховской мануфактуры. Там они и познакомились и поженились. Это не было для деда желанным замужеством его старшей дочери, хотя года ее были на пределе. Отец ему решительно не нравился. И то, что он родом из Минска, из семьи мясника. И то, что он к тому году еще не закончил университета. И служил в непрестижной конторе неизвестно кем. Семья же деда была из Гродно, сам он выработался в везучего подрядчика, получил право жительства за чертой оседлости и человеком был вполне состоятельным. А про отца он презрительно бросал: "Еврей со стоптанными каблуками". Дед вроде бы и не замечал, как быстро ботинки отца стали получше дедовских, как костюмы он стал шить у знаменитого в те годы Чермака с Кречетниковского переулка, и телеграфный адрес на отцовских фирменных конвертах выглядел так: "Москва, Лунгину".

— Европа, Ротшильду, — ерничал дед.

Но, видно, все это его и злило, и вызывало зависть, и он толком не понимал, что же это с отцом происходит... А сезонный абонемент в ложу бенуара в Большом театре довел деда до иступления.

И так как я веснушками, лопухостью и большим носом своим походил на отцовскую родню, то отсветы неприязни падали и на меня до самой дедовой смерти... В Серпухове голод двадцатого года ощущался куда более безнадежным, чем в Москве, а у деда были и деньги и большая квартира, мамой моей он гордился — Высшие женские курсы! — и он решил вызвать нас в Москву. Мама тогда не предполагала, что отношения деда с отцом станут такими натянутыми, и вот, не успело мне сравняться три месяца от роду, как мы вчетвером, мама, папа, няня и я, заявились на пятый этаж доходного дома в Савеловском переулке, что на Остоженке.

Все это я, в общем-то, знаю с чужих слов, а вот что я помню сам. Я плавно плыву в густой темени, и вдруг где-то там вдалеке появляется оранжевое пятнышко, оно живет своей жизнью, взлетает, опускается, увеличивается, становится сверкающе-желтым, потом темнеет, пригаснув, вот оно уже исчерна-оранжевое, словно отяжелев, падает вниз, миг, и, снова взлетев, вспыхивает слепящим ярко-золотым ободом... Мне становится жутко и я ору как зарезанный. И сквозь мой захлебывающийся вопль пробиваются грозные громовые раскаты дедова голоса, от которых содрогается няня. Рука ее, на которой я лежу, вздрагивает, и она, оробев, издает какую-то череду звуков, которую я потом слышал от нее миллион раз: "Здрасьте, барин". Как многие годы спустя выяснилось, няня несла меня по темному коридору к кухне, а навстречу шел дед и... курил папиросу. Потом все будут говорить, что это моя выдумка, что не может же трехмесячный младенец заметить и запомнить такие вещи. Но я-то твердо знаю, что и увидел, и запомнил, и няня утверждала, что я заорал, как оглашенный, услышав дедову матерщину, когда он неожиданно наткнулся на нас в темноте.

Я помню, что в детской, где мы жили с няней, была печка с кафельной лежанкой, которую зимой топили и куда клали меня для обогрева, когда приносили с мороза домой. Эта самая лежанка связана в моей памяти с одним событием, которое угнетало меня много лет кряду, да и сейчас, когда я пишу, у меня вдруг приостанавливается сердце. Думаю, что мне тогда было года четыре или чуть больше... Да, пожалуй, это было до аппендицита... В дедову квартиру из Бессарабии приехал с женой и толстым мальчиком вдвое старше меня брат мамы, мой дядя. Они приехали как и мы — жить в Москве. Жена дяди была еще вполне молодая женщина, но совершенно седая, как лунь. Белышше, отливающие металлом волосы тяжелой косой висели до поясницы, а когда она их расчесывала, то голова ее оказывалась в плотном серебряном коконе, и не было видно ни цепких глаз, ни всегда влажных губ, ни чуть нарумяненных щек. Она была красавица и все ею восхищались. Все, кроме няни и бабушки.

— Ей бы ростику прибавить, — с осуждением говорила няня, — елозит, как на карачках.

А бабушка подхватывала, брезгливо морщась:

— Цыганка-молдаванка... И что это он ее сюда привез, эту таборную?.. По-моему, она у меня стащила пасьянсные карты...

Когда бабушка однажды заговорила об этих пасьянсных картах при деду, он взвился, словно ужаленный змеей, — он бывал бешеным, когда вот так взвизывался, и заорал, как всегда ни с кем и ни с чем не сообразуясь. Как я потом понял, он, видимо, ругался, употребляя самые площадные слова, что так не шло к его крахмальному воротничку, золотой цепочке на жилете и галстуку, заколотому жемчужной булавкой.

— Боже!.. Боже мой, — всхлинула бабушка, задрожав и втискивая лицо в ладони. — Уши вянут!.. Ступай хулиганить на конюшню!.. Постыдись детей... Но дед разошелся, спасу нет. Нянька схватила меня в охапку и уволокла в детскую.

Бабушка никогда не называла деду по имени. "Павел" казался ей оскорбительно грубым. И в письмах, которые она исправно писала, когда дед уезжал по делам или в Кисловодск, она обращалась к нему не иначе как "Дорогой Фабиан".

Так вот, что случилось как будто на масленицу или в какой-то другой большой праздник, потому что няни не было — она, видно, ушла к ранней обедне. Я еще лежал в кровати, но не спал, а думал. Я и до сих пор люблю полупроснувшись, в какой-то полуяви, полудреме, перебирать в голове всякую всячину, о которой, как правило, забываешь, едва вскочишь на ноги. Вдруг дверь скрипнула и приоткрылась. Я скосил глаза и чуть приподнял голову. В щель протиснулся дед, он был скор и суетлив, совсем не по своей ширококостной комплекции. Рукой он что-то придерживал за дверь. Потом вытащил. Оказалось, мою новую бессарабскую тетку. Она шустро впрыгнула в детскую, прислонилась к дверному косяку, уперлась в него затылком и, казалось, перестала дышать, закатив глаза. Дед шмыгнул глазом по сторонам и, все не выпуская теткин руку, поволок ее к лежанке. Тетка поднялась на цыпочки и опрокинулась навзничь, прямо на стопку выглаженного няней моего белья. Капот ее был распахнут, и когда она рывком подняла толстые свои коленки и впиалась пятками в край беленого кирпича, две круглые лоснящиеся на свету вершины, чуть перекрывая одна другую, возвысились на фоне голубоватого с синим кантиком кафеля, словно два белых купола Эльбруса. И в лощину между ними рухнул мой дед и пропал из глаз, а тетка тихонько заверещала: "И-и-и-и"... Тут дед каким-то чужим

голосом сдавленно закричал как мясник, когда разрубает тушу: "Кха!.. Кха!.." "И-и-и-и..." — тонким мышинным писком отозвалась тетка. "Кха!.. Кха!.." — рывкал дед. "И-и-и-и!.." Заработала смешная машина... Сгорая от любопытства, я, не таясь, поднял голову. Но, к счастью, меня не заметили. Потом они разом вскочили на ноги, отряхнулись как курицы и скрылись за дверью, сперва тетка, а потом дед, с непредположимым проворством. Он закурил и вышел с гордо поднятой головой. А меня бил какой-то странный жуткий колотун... И с тех пор, когда бы я не видел вершины Эльбруса, в природе ли или на фотографиях, я всегда мысленно погружаюсь в ту давнюю историю и стыдный озноб продирает по спине.

В те времена врачи только в крайнем случае лечили близких — видно, какой-то суеверный смысл вкладывали они в этот процесс. Когда я заболел, а болел я часто, — звонили маминей товарке по Высшим курсам, и вскоре она прикатывала со своей трубочкой, выточенной из карельской березы. Она долго, старательно протирала широкий раструб стетоскопа ладонью, грела, чтобы я не дергался от его холодных прикосновений, когда она станет меня выслушивать. Вокруг кровати стояли мама, няня и дед. Что уж его заинтересовало — не знаю, но он стоял и ждал, как все. Выслушав, докторша принялась мять живот. Это было нестерпимо больно.

— Аппендикс под вопросом, — сказала она.

— Господи Иисусе Христе, а сыне Божие, помилуй нас грешных! — бормотала няня, истово крестясь.

Дед невинно матюгнулся и гневно взглянул на мамину подругу:

— Так мять брюхо — здоровый бык заорет.

Докторица метнула на него взгляд, исполненный отвращения, и позвонила в Бакунинскую лечебницу. Она долго говорила, пересыпая понятную речь латынью. Через несколько минут — ведь лечебница по соседству с нами — пришла мадам Бакунина — худая дама в профессорской шапочке, прислушалась к моим воплям, ткнула колючим двуперстием в пах и прокаркала по-французски:

— Ne prenez pas le temps, emmenez-le chez moi.

Няня взяла меня на руки, перекрестила, и я очутился в операционной, где нас уже ждал сам профессор Бакунин. А мадам Бакуниной принесли какой-то кулек то ли из плотной бума-

ги, то ли из накрахмаленной ваты, и она накрыла им мой нос и рот. Задохнувшись, я завозился, как змея, но тут в глотке ровно лопнула какая-то пленка, внутрь меня хлынул ледяной воздух, и я впал в беспамятство...

Здание Бакунинской лечебницы строили, видимо, для жилья на одну состоятельную семью. Коридоров не было. Комнаты шли за комнатами, разделенные арочками, облицованными темным деревом. Драпировки в арочках были запахнуты. В комнате стояли несколько кроватей, да не в ряд, а так, по-разному. Это лишало палату лазаретного духа. Возле меня лежал длинновязый, стриженный под "0" мальчик, похожий на гимназиста из "Не ждали"... Все это я рассмотрел уже после того, как очнулся. Видно, особо больно мне не было, потому что тело не запомнило боли, но зато на тумбочке у кровати стоял пузырек с притертой пробкой, и там в прозрачной жидкости плавал какой-то желтенький вроде бы червячок.

— Видишь, — сказал мне на обходе профессор. — Мы тебе отсекли совсем здоровый прекрасный аппендикс. Я даже подумал: убирать его или зашить в живот. И решил: а на кой ляд он ему сдался?.. Вот любуйся теперь!

Этот пузырек долго хранился у нас дома. Когда мы переехали в Большой Новинский переулок, его тоже взяли с собой, и он стоял на полочке в ванной комнате, пока кто-то ненароком не столкнул его. Пузырек разбился вдребезги, спирт из него разлился по кафельному полу, и жалкий кусочек моей плоти сиротливо валялся среди стеклянных осколков. А вокруг ходила наша кошка и порочно принюхивалась к запаху спирта.

Мальчик, мой сосед по кровати, оказался вовсе не мальчиком, а молодым человеком, который потребовал, чтобы я звал его по имени и отчеству, Василием Васильевичем. Он целые дни кряду упоенно срисовывал с модных журналов женские фигуры в этаких искусственных позитурах. Сперва он тонким штрихом очерчивал нагие тела, а потом, насладившись их видом, одевал красавиц в туалеты нежных пастельных цветов. Он был развратником, этот юный копиист модных картинок, Василий Васильевич. Мне, видно, чтобы блюсти мою невинность, он показывал уже одетые модели, и, пока творил греша, причмокивая губами, шепча что-то страстное, он отворачивался от меня и перекрывал предположимую зону видимо-

сти дергающимся колючим плечом. Но я все-таки как-то изловчился и бросил пыливый взгляд на его труды — он как раз встал, торопясь, чтобы попользоваться "уткой". На просторном альбомном листе была изображена обнаженная барышня с осинной талией, раскинутыми в стороны сосцами и четким треугольником в подбрюшье с какими-то мелкими деталями красного цвета. Как он смутился, заметив, что я по-черепашьи вытянув шею, впился глазами в его творенье!

— За такую неделикатность, молодой человек, в доброе старое время били по щекам шлепанцами, — гневно сказал он, играя желвачками под тонкой кожей скул. — Или вашей нации неизвестно, что любопытным в сортире носы прищемляют!?

И если учесть, что "молодому человеку особой нации", то есть мне, было пять с небольшим, да и сам Василий Васильевич жил в "добром старом времени" примерно столько же, пока не грянул Великий Октябрь, принесший счастье всему прогрессивному человечеству, то станет ясно, что дружбы между нами не возникло.

— Я же не прячу от вас свой отросток, — миролюбиво нашелся я, поднимая склянку с отрезанным аппендиксом. — Глядите сколько вашей душеньке угодно.

Так говорила моя няня, и я любил повторять ее фразы.

— Идите вы к чертовой матери со своим отростком! — рявкнул он мне через плечо, торопливо одевая свою девицу в желтый капот с черными летучими мышами, закрывающими и раскинутые розовые сосцы и лонное место.

На другой день меня должны были забирать домой и к вечеру забрали. Но в первой половине дня произошло событие, оставившее по себе память на всю мою жизнь. Оказывается, в те же дни, что и я, в лечебнице Бакунина лежал Патриарх Тихон. Болезнь не отступала от него, и он решил объехать московские церкви с прощальным назиданием и благословением. Для того, чтобы пройти из его палаты к выходу, надо было миновать несколько комнат, в том числе и ту, где мы лежали. И вот занавесь в арке откинулась и на пороге появился прозрачно-бледный старик с удивительно глубокими глазами. Мне кажется сейчас, что он был в очках, отчего зрачки его премного увеличивались. Он вошел, спираясь на высокий посох, в шапочке со сверкающим серафимом над строго сведенными бровями. Белая парча его одежды в нашей затененной комнате создавала

впечатление, что от Патриарха исходит свечение. Рукоятка посоха тоже сверкала. В шаге от него, чуть поддерживая под локоть, шел рослый монах, которому он, войдя, и передал свой посох... А сам Патриарх, шагнув на середину палаты, произнес какую-то фразу, непривычные слова были сказаны тихим голосом, и я их не расслышал... Он двумя руками, каким-то особым движением, разом перекрестил всех, находящихся в комнате, потом подошел с благословением к каждому, и все целовали его руку с благоговением, отчетливо понимая значительность этого мига. Мне он тоже протянул свою прохладную невесомую кисть, и я, в каком-то испуге, коснулся губами сухой пергаментной кожи. Патриарх серьезно взглянул на меня, и тут я почувствовал, что взгляд этот посвящен мне, мне одному и никому другому, что другим, наверно, тоже будут подарены другие взгляды, их взгляды, а вот этот — мой, исключительно и только мой, и он, этот взгляд, отметил меня, поселился в моей душе, и я сохранил легчайшее его прикосновение на всю жизнь...

Я пишу это и помню, помню, как словно легкий ветерок проник в мое нутро этот взгляд. Знающие люди говорили, что он был редкостного благородства, смелости и силы духа, этот облаченный в парчу старец...

Когда я, вернувшись домой, рассказал няне обо всем, что со мной случилось, она только вздохнула:

— Ангельская душка!

Когда Патриарх Тихон вышел из нашей палаты, мы все бросились к окнам и видели, как он появился на улице, как сел в пролетку. Тьма народа ждала его у подъезда. Старик перекрестил их всех, и кучер тронул. Говорят, он объехал все множество московских церквей. Тогда их было множество. Сказал духовенству все, что хотел сказать, и изнуренный вернулся домой. А ночью он умер.

Я помню все это с такой ясностью, словно это случилось вчера...

О, избирательная память, а как много ты отвергаешь!..



Олег Давыдов

НИКОСОФСКИЕ РЕМАРКИ

Петровское, 12 августа 1833. Ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Наверное, муха сидела на образке. Может быть, вместе с ангелом они составляли единый крылатый кошмар сновидения. Пробуждающий удар хлопущки разъединил их: перевел в мир реальности муху — как дохлую муху, а ангела — как образ небесного существа. Так в начале, на грани бреда и яви, в семь утра, демиург Карл Иваныч отделяет небо от земли. С этого начинаются все собрания сочинений великого нашего реалистического классика. Берейшит российского писания.

Николенька Иртенъев решительно не помнил, что ему снилось в ту ночь, но сказал, будто видел, что маман умерла, и ее несут хоронить. Она и действительно скоро умрет — слово чревато событием. Молодой граф Толстой предрекает смерть женщины.

Ясная Поляна, март 1886. К этому времени Лев Николаич уже точно установил, что существуют всего три типа женщин: женщины — человеческие существа, женщины, представляющие

”В и М” = ”Война и Мир”.

высшее проявление человека, и женщины, — как он выражается, — бляди. ("Так что же нам делать?") В "В и М" эта важная мысль тоже уже проглядывает — в том хотя бы, что лишь три из четырех структурных начал российской мифологии содержат в себе развитые женские принципы. Список четырех главных начал: Ростовы, Безуховы, Болконские и Курагины. Женские валентности в них: княжна Марья, Наташа Ростова и блудница Элен. Пьеру Безухову, таким образом, выпадает печальная участь двуполого монстра.

Что же за женщина была мать Николеньки Иртеньева? В первой рукописной редакции "Детства" она называется урожденной княжной Б., дочерью Ивана Андреича Б... Значит, вот уже где проклевывается росток будущих Болконских. Хотя, как известно, эта урожденная Б... ушла от первого мужа. В этом смысле она скорее напоминает Анну Каренину, то есть — Наташу Ростову. В окончательной редакции "Детства" она и зовется Натальей Ивановной. А муж ее — Петр (или Пьер). По характеру же родители Николеньки больше похожи на Николая Ростова и Марью Болконскую. Таков первобытный бульон еще не установившихся имен и характеров. Зыбкая почва, в которой все слито. В дальнейшем, по мере работы над текстами, это *все* подвергнется расчленению и конкретизации. Выйдя на поверхность, смутные потенции станут ясно очерченной структурой. Структурой сознания Толстого, отразившей устройство русского бытия. Именно это имел в виду Владимир Ильич, называя Толстого — зеркалом.

"В и М" изображает пути становления русского космоса XIX века. Результат — в эпилоге: как в каждой настоящей семье, в лысогорском доме будет жить вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сольются в одно гармоническое целое. Речь главным образом — о взаимодействии двух сил, представленных двумя парами: Пьер Безухов женат на Наташе Ростовской, а Николай Ростов — на Марье Болконской.

Лысые годы, сентябрь 1805. О старом родовом гнезде Болконских сказано, что это был заколдованный, заснувший замок — все та же степенность, чистота, тишина. Просто не дом, а какой-то часовой механизм, где порядок в образе жизни доведен до последней степени точности. Поддерживает этот порядок старый князь Николай Андреич, прозванный в обществе —

"прусский король". Все испытывали одинаковое чувство почти-тельности и даже страха в то время, как отворялась высокая дверь кабинета и показывалась — прямо кукушка на часах! — в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями: ку-ку! Ах, если бы он был просто безобидным сумасшедшим, но ведь нет — старичок пожирает, по мнению князя Андрея, жалкое невинное существо — свою дочь княжну Марью. Кажется, князь Николай Андреич ужасно не любит все женское, все эти бабы сказки, все, связанное с миром сырым, земнородным. Такое даже впечатление, что его дети родились без матери, вышли в полном вооружении из многодумной его головы. Или, по крайности, были им выточены на токарном станке — как табакерки. Особенно это касается княжны Марьи, которую он чуть не до самой смерти своей воспитывает посредством алгебры и геометрии.

"Ну, сударыня", — начинает старик, пригнувшись близко к дочери и положив одну руку на спинку ее кресла — так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженной табачным и старческим запахом отца. — "Ну, сударыня, треугольники эти подобны. Изволишь видеть, угол авс..." Это тот самый угол, в который князь загоняет бедную девушку, чтобы добыть из нее ароматы испуга и дурусти. Вот добыл — добился своего: бедняжка испуганно взглядывает на близко от нее блестящие глаза отца, видно, что она ничего не понимает и так боится, что страх мешает ей понять все дальнейшие толкования. У нее все мутится в глазах, ей хочется на простор. Ну, а старик теперь имеет полное моральное право выйти из себя, швырнуть на пол тетрадь: дура!

Лысые Горы, июнь 1812. Поссорившись с отцом, достигшим к концу жизни уже изошренных высот педагогики, князь Андрей вошел к своему маленькому сыну и стал рассказывать ему сказку о Синей Бороде. Но, не досказав, задумался. Есть над чем. И какая точная ассоциация... Нет, кажется, старик никого не убивал, а все же призрак дракона, пожирателя девушек, витает над его заколдованным замком. Ведь это форма любви — такое застеночное воспитание. И, очевидно, старик самолично занимается с дочерью науками лишь для того, чтобы иметь побольше поводов мучить ее. А она умеет проявить свою любовь главным образом тем, что подставляется — непонима-

нием своим доводит старика до бешенства. И он ей благодарен за это. Как престарелая мать Николая Ростова начинала плакать, когда у нее возникала потребность посморкаться, так и старик Болконский каждое утро, как физзарядкой, занимался с княжной геометрией — потому что ему надо поупражнять свою генеральскую потребность грозно покомандовать. По мысли Толстого — что для людей в полной силе представляется целью, для стариков, очевидно, предлог. А каково это все княжне Марье? О, она так довольна и счастлива с отцом.

Лысые Горы, сентябрь 1805. Бедная девушка, ведь она вовсе не такая уж дура, она просто ужасно забыта бесчеловечной любовью отца. Она живет потаенной внутренней жизнью и, когда отца нет, может произвести самое благоприятное впечатление. Вот, например, что пишет ей светская глупышка Жюли Карагина: "Отчего я не могу, как три месяца назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проникательном, который я так любила и который я вижу перед собой в ту минуту, как пишу вам?" Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло справа от нее. Очевидно, она хочет проверить, права ли Жюли, чье письмо — тоже ведь своеобразное зеркало. Но нет, прав отец — трюмо отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. Жюли мне льстит, — подумала княжна Марья, не смея поверить после отцовской взбучки тому, что могут увидеть в ней другие. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Когда она не думала о себе мыслями отца, не глядела на себя его глазами.

Кстати, в письме Жюли, чье сердце соединено с сердцем Марьи "неразрывными узами", уже упомянут будущий спаситель и супруг княжны Марьи — Николай Ростов. Жюли испытывает к нему то, что она называет сладкой дружбой. Если буквально понять, что половина существования и счастья Жюли — в княжне Марье, а также принять во внимание мистическое уче-

ние о том, что браки заключаются на небесах, то — не положила ли уже княжна Марья глаз на Ростова? Не прилепилась ли она уже к Николаю той частью своего сердца, которая общая у нее с Жюли? Во всяком случае, в ответном письме княжна весьма невпопад просит не приписывать ей строгий взгляд на "сладкую дружбу" — я, мол, в этом отношении строга только к себе... Да что с вами, милочка? — ни о каких ваших строгостях у Жюли даже речь не заходит. Правда, она сообщает, что к вам едет жених. Но ведь это еще не Николай Ростов, а повеса Анатолий Курагин. Вот тут бы вам надо быть поосторожней, поостроже. Тем более, что отец ваш при одной мысли, что вы можете выскользнуть из рук, уже начинает беситься.

Лысые Горы, декабрь 1805. Несмотря на то, что князь Николай Андреич, казалось, мало дорожил своей дочерью, жизнь без нее была ему невыносима. Это все чувствуют в доме, и Марья — первая. Правда, это чувство в ней выражается своеобразно — она чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного жениха волновал ее. Как говорится — и хочется, и колется, и мама не велит. В данном случае не велит папа, который внутри дочери оскорбляется тем, что у него хотят отнять любимую его игрушку: дочь. А игрушка эта настолько тонко устроена, что уже почти и сама сознает все, что с ней происходит. Она замечает раздвоенность своей души: с одной стороны — свое желание уйти замуж из-под опеки отца, а с другой — желание отца внутри себя: не выходить! По крайней мере она понимает, что под магическим взглядом отца она совершенно дуреет и дурнеет. "Как я выйду в гостиную?" — размышляет она перед зеркалом в день явления Анатолия. — "ежели бы даже он мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собой". Одна мысль о взгляде отца приводит ее в ужас, и под лучом этого взгляда, отраженного всеми зеркалами лысогорского заколдованного замка, — взгляда василиска, преследующего ее даже в отсутствие старого князя, — под лучом его взгляда, которым она и сама на себя уже смотрит, потухают глаза княжны Марьи, лицо ее покрывается пятнами... И она отдает себя в руки Бурьенки и маленькой Лизы, которые хлопочут сделать ее еще уродливей, чем она есть. Ибо они тоже загнипнотизированы стариком, хотя воображают себе, что действуют из самых лучших побуждений... Причесывают ее, наряжают... Стоп, довольно,

оставьте меня, хуже уже не будет, не надо ничего менять. Теперь отец может язвить: ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса.

Ах, Николай Андреич, в том-то и фокус, что она причесана так не для гостей, а для вас. И притом не только для того, чтобы вы ее осадили, но — чтобы как можно меньше понравиться жениху. То, что жених оказался законченный подонок, это уже другой вопрос, а Марья исполняет только вашу волю: не расставаться с вами. И эти ее детские трогательные мысли: "Мое призвание — быть счастливою другим счастьем, счастьем любви и самопожертвования", — это ведь проекция вашего: "И к чему ей выходить замуж? Наверно быть несчастною. И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка..." А кто ее сделал дурной и неловкой? Вы сами и сделали, ваше сиятельство, своим воспитанием. Чтобы никто не взял ее в жены... Ей приходится быть и дурной, и неловкой, чтобы успокоить вас, чтоб уверить вас, что ее единственное желание — никогда не разделять своей жизни с вашей.

Москва, декабрь 1811. Со временем характер "прусского короля" будет все больше портиться. Ему мало станет утренних занятий геометрией. Он старательно будет изыскивать все больные места княжны Марьи, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У бедняжки две радости: племянник Николушка и религия, и обе станут любимыми темами его нападений и насмешек.

Княжна Марья воспитывает маленького Николушку приблизительно по той же самой методе, по какой ее саму воспитывает старый князь. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот-вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злою дурною натурой. А Николушка, подражая ей рыданиями, утешал ее.

Здесь становится ясно, что "прусский король" не столько княжну Марью мучает своей геометрией, сколько мучает сам

себя. Нет, он не плачет, загнав княжну в угол, как, поставив племянника в угол, плачет княжна, но переживает он нисколько не меньше. А, возможно, и больше. Ведь княжне пока просто "хочется побыстрее перелить свое знание", а ее любящий мучитель действует умышленно. У него есть все условия понять, что безликое "хочется", которому он умышленно дает волю, есть не его собственное хотение, но — похоть злых существ его дурной природы. Он слишком их распустил, и вот в конце его жизни эти существа уже и вовсе не дают покоя старику — не дают ему спать, теснят из комнаты в комнату, издеваются... Почти каждую ночь постель его вдруг начинала ходить под ним, как бы тяжело дыша и толкаясь. "Нет покоя, проклятые! Ох, хоть бы поскорее вы бы отпустили меня", — ворчит он на кого-то. На кого же? Да на *них* вот как раз — тех, кто мучит его. На бесов, легионообразное "вы" которых нарочито подчеркнуто Львом Николаичем. Человек может думать, что занят он геометрией, но бесам-то на геометрию наплевать. Что им геометрия? — повод, а на деле им нужен лишь страх забитого ребенка. Бесы хотят человеческой крови, а княжна Марья и "прусский король" ощущают *их* похоть в себе как свое смутное "хочется". И притом людям хочется вовсе не истерических жертвоприношений идолам, но — чего-то идеального... Такой сверхчеловеческий порыв к идеалам заканчивается выпадением в осадок "человеческого, слишком человеческого". Слезами истерики. Впрочем, эти порывы все-таки скрашивают жизнь отставного старика, структурируют ее, питают энергией и призраками понимания.

Богучарово, 15 августа 1812. Итак, под геометрическим узором гуманизма и просвещения скрываются отношения куда более серьезные и глубокие, — отношения не людей, а неких болванов, которые не говорят человеческим языком, но общаются смутными знаками. Бедной княжне приходится каждый раз угадывать: чего от нее хочет отцовский бес? Ага, вот такой-то глупости... Что же, пожалуйста: зачесала уродливо волосы вверх, надела дурацкое платье, теперь отец может кричать на нее, раз бесу его это нужно. Так было всю жизнь, так это и перед смертью. Но с последнего контакта "прусского короля" с дочерью уже сдернуто покрывало членораздельной речи, создающей видимость разумного общения, и остается лишь голая суть: основа их отношений — мычание и догадка. "Гага — бои...

бои...” — повторил князь несколько раз. Никак нельзя было понять этих слов. Княжна, напрягая все силы внимания, смотрит на него... ”Душа, душа болит”, — разгадала и сказала она. Он утвердительно замычал. Он доволен, ибо теперь обозначено то, что с ним происходит. Короче говоря, взаимодействуя с дочерью, старый князь не просто издевается, но еще извлекает знания о себе и о мире, выделяет из своего смутного и неопределенного самочувствия единицы понимания: что я, собственно, есть здесь и сейчас. И всю жизнь княжна Марья стояла зеркалом перед отцом, тонко реагируя на его настроения, обозначала те состояния, в которых он находился, переводила смуту его души в живые картины драматических действий. А уж проиграв, поняв, физиологически почувствовав ситуацию, человек может и успокоиться... Знаки понимания — вот что дает отцу Марья. Старый князь каждый день заводил свои часы с кукушкой — напружинивал княжну, чтобы иметь возможность по показаниям этого внешнего для себя прибора ориентироваться в происходящих событиях, в потоке и смене своих впечатлений. Теперь ясно, что Марья для него — нечто вроде той самой шиллеровской радости, которая двигает колеса великих мировых часов.

Москва, 28 ноября 1988. Если какие-нибудь примитивные языческие божки имеют уже наметки для развертывания своей мифологии в стройную догматическую систему, и если в этом начальном богословствовании у какого-то Бога-Отца уже есть нечто соответствующее Софии Премудрости Божией, то отношения между таким языческим божком-предком и его гипостазированной премудростью должны быть примерно такие же, как отношения между старым ”прусским королем” и его дочерью. Я вовсе не хочу сказать, что какая-то реальная девушка может быть чьей-то премудростью. Я говорю, что она может состоять со своим (к примеру) отцом в таких отношениях, которые богословы описывают как отношения Вседержителя и Софии. Это любовные отношения, и любящий отец ревниво воспитывает дочь, чтобы в ней воплотилась его любимая мысль. Процесс воспитания собственной мысли, вышедший наружу в виде женского образа, процесс шлифовки ее, борьба с материалом собственной мысли — все это должно привести к созданию идеала, но обычно приводит к созданию некоего идола. Впрочем, что именно там получается, для нас сейчас не

имеет значения. Главное то, что в реальной девушке появляется нечто нечеловеческое — что-то такое, что временами вдруг проявляется в ней. Как будто бы кто-то в нее вселяется, подменяет ее личность собой. Так дает себя знать то, что воспитано в ней. Не всегда, повторяю, софийное нечто — прекрасно, чаще — наоборот. Но уж если в реальной девушке иногда прорезается облик Софии, то героине Толстого сам бог велел быть Софией. Такова природа литературных героев — они архетипичны.

Петербург, 2 апреля 1834. В прошлое воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказывал мне о своем изгнании в 1812 году. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гений Зла и Блага. Он отвечал комплиментами и советовал мне писать историю моего времени.

Из того, что Сперанский рассказал тогда Пушкину, известно ничтожно мало. Но вот он бы мог, наверное, рассказать, что в изгнании занимался почти тем же самым, чем покойный князь Николай Андреевич — софийными штудиями. Не позднее 1813 года Сперанский писал о Софии: "Сия первая жена была не создана и не рождена, но устроена. Она есть то знание, которое имеет Отец и Сын, но она есть созерцание их желания, зеркало, в коем слава их отражается. Уделением небесного семени она соделалась мати всех сущих на небеси. Таким образом возник мир духов первозданных — типы и образы всех небесных созданий".

Сперанский, как видно, хочет сказать о происхождении архетипов, но, говоря о чем-то общечеловеческом, он одновременно выражает коренной архетип русской жизни: власть в России имеет божественное основание. Во всяком случае, софиологическими рассуждениями опальный Сперанский оправдывает свою внутреннюю политику — я-де руководствовался твердыми принципами. Очень хорошо, но идеология, ориентирующаяся на первозданные типы и образцы, вещь обоюдоострая, а значит — опасная. Ибо она обосновывает не всегда верные впечатления начальства, что оно, мол, руководствуется чем-то истинным. Так "прусский король" заколдовал лысогорский замок. Или какой-нибудь Аракчеев мог взять с потолка любой показавшийся ему предвечным образец и в соответствии с этим своим предвзятым мнением насоздать по стране военных поселений. Такой образец и действительно носится в воз-

духе нашей империи — как бацилла. Вот и товарищ Троцкий его тоже уловил и хлопотливо стал создавать трудовые армии. Но товарищ Сталин, похвалив его печень, заразился идеей товарища Троцкого — выстроил лагерный социализм. София создала себе дом...

Ничем иным, как социологией (только без крови) занимался Сперанский на государственном поприще. Князя Андрея поразила в нем именно непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда ему в голову не приходило сомнение в том, что — не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю? Такая уверенность гипнотизирует, и через неделю после знакомства со Сперанским князь Андрей работал уже над составлением гражданского уложения — по отделу Права лиц. То есть, он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода законов. Таковы наши предвечные образцы. Но это все же приличные образцы, образцы очередной оттепели: права лиц, гласность, твердые начала, вместо произвола... Это все-таки не софийная паранойя аракчеевщины.

Петербург, март 1812. Однако позднее князь Андрей вспомнит своих богучаровских мужиков и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, удивится себе: как он мог так долго заниматься такой праздной работой? Это надо понять как отставку Сперанского. Отставкой кончается всякая оттепель.

Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями — больницами, школами и облегчением оброка, — не смягчило нравов мужиков, а, напротив, усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки. Например, об имеющем через семь лет воцариться императоре Петре Федоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет... В жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых необъяснимы для современников. Таким образом Лев Николаич подчеркивает, что эти таинственные струи бьются повсюду в русском народе, но он выбирает самый чистый и показательный случай стремления к воле и простоте. Одно из таких явлений было движение к переселению на какие-то теплые ре-

ки. Лет двадцать назад сотни крестьян стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семьями куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди туда, где никто из них не был. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно.

Богучарово, 16 августа 1812. И вот с этим-то своим народом княжна Марья остается один на один после смерти отца. Она лежит в комнате окнами на запад, эта осиротевшая безначальная софия, и тупо смотрит на сафьяновую подушку. Она уже объявила, что, несмотря на приближение неприятеля, не хочет никуда уезжать. Но вот приходит Бурьенка и предлагает ей отдаться на милость французского генерала Рамо... Как! Чтобы она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила какого-то Рамо оказать ей покровительство! Эта мысль привела ее в ужас, заставила ее содрогаться и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Вот они, бесы-то! Вообще-то для Марьи было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было. Но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Значит — немедленно ехать! Но первоначальное ее желание было все-таки не уезжать. Как же быть? И она призывает к себе старосту богучаровского мира — некоего Дрона, искателя теплых рек.

Для начала княжна напоминает Дронушке о своей полной беспомощности, а затем спрашивает: правду ли говорят, что ей и уехать нельзя? Провокационная постановка вопроса. Даже Дрон, уже заранее настроенный не давать лошадей, удивлен:

— Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно.

— Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. — Этим нытьем Марья, видимо, хочет намекнуть, что она целиком во власти народа, и вдруг — вспомним бахтинскую полифонию! — из княжны вдруг властно прорезалась воля отца:

— Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром.

На это волеизлияние покойника Дрон реагирует четко:

— Лошадей нет, — сказал он.

— Отчего же нет?

— Все от божьего наказания.

Может показаться, что староста попросту издевается. Но скорей всего дело в том, что Марья вступила с этим представителем народа в софийное взаимодействие. Происходит то самое, к чему она так привыкла, общаясь с отцом, — мычание и догадка. Она уже угадала, что народ не хочет давать лошадей, она и сама не склонна ехать, она лишь по привычному чувству долга прислушивается к желаниям отца, бродящим в ее душе. Но отец уже умер, а тут вот народ, которого она толком не знает, но платонически любит, предлагает ей новые игры... И, понятно, княжна начинает автоматически подыгрывать старосте Дрону, который ведь тоже не лыком шит. Он уже смекнул, что, несмотря на остаточное влияние инородных культурных чудачеств отца (и благодаря этим чудачествам), Марья будет валять дурака — безумить и так уже совсем взбуровленный народ. Дрон это понял и всей душой включился в любимую им игру теплых рек — он сказал: "Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть..." В ответ Марья делает очень удачный ход: ну так раздай господский хлеб мужикам, все раздай. Шах! — и это уже ставит бедного старосту на грань безумия: уволь ты меня, матушка, ради бога, лопочет он. — Служил двадцать три года, худого не делал...

Так заканчивается первый акт этой софийной трагедии.

Богучарово, 16 августа 1812 (час спустя). Во втором акте неменяемый уже староста Дрон собирает народ на выгоне у амбара — переговорить с госпожою (по ее приказанию).

— Да я никогда не звала их.

Нет, выходит, звала, только не прямо словесно, а эдаким невидимым подмигиванием, активизирующим архетипы. Приходится допустить внесловесный контакт, иначе последующий сюр останется непонятен. Дело в том, что, оказывается, мужики пришли сказать, что не согласны уезжать по приказанию Марьи.

— Да я никогда не приказывала уезжать.

Это истинная правда — ей такое еще не приходило в голову. Но, видимо, мысль об отъезде, подкинутаая мужиками, по-

нравилась Марье. "Они, вероятно, думают, что я сама уеду, бросив их..." — думала она, подходя в сумерках к толпе.

Только сумеречным состоянием души можно объяснить то, что людям, заранее ясно выразившим свое нежелание уезжать, княжна заявляет:

— Ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом.

В толпе только слышались вздохи.

Богучарово, 17 августа 1812. Вчерашнее поведение княжны так испортило дело, что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большою толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут Марьиных лошадей. Почему мужики не хотят отпустить княжну Марью? Дело, видимо, в том, что народ признал в ней свою премудрость. Вчера она так тонко повела себя, раздувая искру бессмыслицы, так безошибочно накалила народные страсти до критической точки, в которой рождается тяга к походам на теплые реки, что народ вмиг смекнул: э, девка, да с тобой очень можно достигнуть заветной мечты Каратаева... То есть — тюрьмы и сумы. В софийной игре Марья сделала зримыми потаенные чаянья русского духа. И народ, сам играя, узнал в ее драматическом действе себя — как в зеркале! — узнал свою душу и то, к чему теперь надо стремиться. Узнавание обернулось бунтом, но бунт — такова диалектика! — как раз продолжение провоцирующей Марьиной драмы: необходимый катарсис, отреагирование...

Правда, при таком взгляде не очень понятно — реальные мужики взбунтовались, или это у Толстого только метафорический рассказ о том, что происходит в глубине Марьиной души после смерти отца? В последнем случае Дрон, и эта толпа мужиков, и Бурьенка — не люди, а ставшие зримыми бесы Марьиной души, фигуры ее субъективности, потерявшие привычные ориентиры в результате прекращения авторитарного отеческого давления. Впрочем, не так уж и важно: реальны они или нет. Важно то, что все это прекрасный материал для изображения наших русских бессмысленных бунтов: оставшись один на один с таинственным диким народом, интеллигентная софия начинает делать бессмысленные жесты, которые при желании

можно воспринять и как некие тайные знаки. Именно так эти жесты и воспринимаются народом. Да еще пресуществляются в народном сознании в наименее привычную для нас форму мышления: есть приказ... Не вывозиться! Но воля отца остается все та же: ехать!..

Это противоречие похоже на то, что сложилось в недрах российской софии с наполеоновским нашествием — нельзя отступить, но и сражаться невозможно в условиях двоевластия (а фактически — безвластия) в армии. Противоборство немца Баркляя с Багратионом в начальный период кампании приводит к безначалию, беспорядку и глупости. И точно так же, как сердечную смуту нашей военной премудрости успокаивает назначенный главнокомандующий Кутузов, сердечную смуту марьиной души утоляет Николай Ростов, явившийся вдруг, дабы применить к взбуровленному миру богучаровской софии крутые меры — те самые, которые хорошо применить к женщине, бьющейся в истерике.

Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигается к толпе. И сразу — по зубам. "Разговаривать? Бунт!.. Разбойники! Изменники! Староста где? Ты староста? Встать!" — вопил Ростов не своим голосом. И действительно, два мужика стали вязать Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушак и подал им. Расхристанные бесы души русского мира начинают понимать, в чем смысл жизни и на чьей стороне сермяжная правда. "Что ж, мы никакой обиды не сделали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали"... — послышались голоса. Бурлящие безначальным наводнением теплые реки входят в свои берега. Все довольны. Лицо Марьи сияет благодарностью и нежностью — явился новый хозяин.

Москва, 28 ноября 1988. Ну, ежели княжна Марья — софия, а "пруссский король" так беззаветно, хоть, конечно, и очень своеобразно, любит ее, то как же нам его назвать? Любитель софии — по-гречески это философ. Старый князь Николай несомненно был философ. Притом — прусский философ со всей этой железной дисциплиной немецкой просветительской мысли. Он так замуштровал нашу бедную премудрость своей замешанной на Вольфе и Лейбнице любовью, что она уже шагу не может ступить без оглядки на кривое зеркало. Хотя, конечно, будучи русской, стремится к страданию, по-матерински приве-

чает всяких юродивых божьих людей и даже мечтает уйти странствовать с ними. Немецкий период петербургской академической науки XVIII века заканчивается, согласно Толстому, 15-го августа 1812 года, когда умирает князь Николай Болконский, а 17-го на его место (в третий день по-писанному) является граф Николай Ростов, который немедленно принимает на себя все важнейшие функции старого хозяина: подавляет смуту осиротевшего русского мира и влюбляется в княжну Марью. Можно смело утверждать, что для графа Николая Любоумрие вовсе не новость. Он уже философствовал всласть над отцовским управляющим Митенькой — ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов: изрублю собаку... Но что еще важнее — Николай с незапамятных времен влюблен в свою бедную кузину Сою, которая, как и Марья, тоже, конечно, премудрость. Но только она старая премудрость, еще допетровских времен. Семинаристская софия стрелецких бунтов и Домостроя. А Марья прошла европейскую школу.

Москва, 26 августа 1805. Кто же такой этот новый хозяин-возлюбленный русской софии? Ну конечно — фольклорный Иванушка-дурачок. Николай почему-то считает, что карьера — это прислужничество ради хватания чинов. Таков общеростовский принцип, только вот Николай презирает карьеру на этом ложном основании, а выкормыш Ростовых Борис Друбецкой — успешно ее делает. Обладая отличными связями, Николай не хочет идти ни к кому в адъютанты — лакейская должность. А раз так, он уже заранее запрограммирован на прозябание в глухом армейском полку. И эта программа реализуется через Сою — его детскую мудрость.

Соня это как бы душа Николая, но — вне его расположенная душа. Она то, на что он ориентируется — некий маточный кристаллик, вокруг которого он выстраивает свое поведение. "Я не дипломат, не чиновник", — говорит он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Сою: нравится ли ей? А что было бы, если б ей это не нравилось? Он либо нашел бы себе для влюбленности что-то другое, либо захотел стать дипломатом. Но что гадать, если Соня уже цепкой хваткой котеночка держит Коко в своих мускулистых лапках. Мало того, что Николушка изначально имеет задатки Иванушки-дурачка, Соня как бы еще усиливает, оттеняет и подтверждает эти его

качества. Она для того и нужна, чтобы форсировать пока лишь намеченную тягу Ростова к благородной простоватости. Соня с ее примитивной нравственностью послушливой дому эблагодетельствованной девочки выступает как аристотелевский перводвигатель — тот поводок, на котором Николай будет приведен к конечному своему состоянию самоотверженного урапатриота. А иначе ведь могли бы развиваться другие его задатки — более, так сказать, светские, изошренные, диалектичные, — которые тоже видны в нем с первого шага и закручиваются во круг поэтической Жюли Карагиной. Той самой, половина существа которой — в княжне Марье. Но ревнивая Соня будет заслонять Николая от других женщин, пока не явится княжна Марья со своими духовными богатствами.

Ольмюц, 13 ноября 1805. Для начала Соня, премудрость Николушкина, уводит его из университета и определяет в Павлоградский гусарский полк — пусть повоюет с Бонапартием. Зачем? На это ответит полковой командир Николая, сангвинический немец, служака и патриот: "Затэм, мылостывый государ, что импэратор это знаэт. Мы должны умэр-р-рэт за своэго импэратора. А вы как судитэ, молодой человек?"

— Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай. Он и вообще-то легко поддается любому влиянию, а уж тут — раз речь зашла об их величестве... Через краткое время молодой человек попросту влюбится в Александра I. Как в женщину! Что там бедная Соня... На Ольмюцком смотру, разглядев сблизи государя, Николай испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал. Все — всякая черта, всякое движение — казалось ему прелестно в государе. И такое же чувство испытывал каждый человек этой армии, — чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества. Боже, какое это русское, подлинно ростовское чувство! Кто из нас не испытал его в детстве? Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз... И вот это стадное чувство армейской соборности заставляет Ростова орать во всю глотку: ура! — надсаживать грудь, аж пригнувшись к седлу, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю. Только умереть, умереть за него!..

Впрочем, любовь Николая Ростова перерастает уже даже и чувство стадности. В ней намечается, пожалуй, некоторая,

что ли, чрезмерность, доходящая по временам до полного отождествления с обожаемым предметом. Николай копирует движения и поступки императора. Поймав улыбку, сам невольно начинает улыбаться. Мечтает о встрече и боится подойти, даже когда под Аустерлицем их величеству нужна помощь. Или вот — вдруг в Тильзите, неожиданно для себя, начинает орать на офицеров-товарищей: как вы можете судить о поступках государя!?. Тут уж он вообще смотрится таким маленьким ущербным царьком, расстроенным тем, что приходится браться с этим выскочкой, корсиканским чудовищем.

Петербург, 12 декабря 1825. Если учесть, что существеннейшей чертой Александра I было самолюбие, то Ростов — это та часть государя, которая любит себя. Нет, Николай любит не лично себя как Ростова, но — себя как манифестацию самодержавия. И потому он никогда не сможет со стороны и критически посмотреть на самодержавную власть. И еще менее — на свои действия во имя ее. Он убежден, что всегда безусловно прав, когда дело идет о государственных устоях, и во имя любви к ним готов на многое.

”Ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший друг мой, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадронам и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду”.

Но скорее Ростов поступит, как известный Яков Ростовцев, который, ”твердо решившись спасти государя, Отечество и вместе с тем людей, которых любил и которых считал только слепыми орудиями значительнейшего заговора”, донес о готовящемся выступлении декабристов Николаю I.

Воронеж, 8 сентября 1812. Поговорим о датах у Льва Николаича. Почему ”пруссский король” умирает именно 15-го августа? Потому ли, что, согласно мистической хронологии романа, Николай Ростов должен заменить умершего старика именно в третий день, то есть 17-го, а это как раз дата приезда Кутузова к армии?

Вроде бы ясно, что автор символически дублирует явление Кутузова на театре военных действий появлением Николая возле Марьи. И поэтому смерть старого князя может наступить только 15-го. Однако все многообразие последствий такого

символизма ничтожно в сравнении с тем фактом, что 15-е — это Успение Богородицы. И в тот же день почитают икону Софии Новгородской. А теперь зададимся вопросом: зачем понадобилось Толстому, обычно ставящему конкретную дату, зашифровать день второй встречи Николая и Марьи так, что только при помощи кропотливых вычислений можно его точно установить? Но все-таки можно — это случилось 8 сентября, в воскресенье. Но ведь это же Рождество Богородицы. И тоже почитается икона Софии (теперь уже Киевской). Автор сих никософских ремарок в смущении чешет затылок: неужели и впрямь Лев Толстой придает столь решающее значение церковным праздникам вечной женственности? Но тогда почему он стесняется этого?..

Итак, в четверг Николай приехал в Воронеж, а сегодня уже идет с визитом к княжне Марье. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые женские грудные звуки. Удивительно! Нельзя было лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться. Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела?.. Да нет, просто на Марью больше не давит отец, которому нравится только уродство и страх, и вот выявляется ее исконная сущность. Точнее — софийное существо в княжне Марье угадало, как нравится Николаю. С той минуты, как она увидела это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которую она жила до сих пор, выступила наружу.

Москва, середина января 1814. Николай, получивший в наследство от промотавшегося отца только долги, живет с матерью и Соней в полной нищете. Соня ведет домашнее хозяйство. Николай чувствует себя в неоплатном долгу благодарности перед ней. Но чем больше он ее ценит, тем меньше любит. Он жаждет вырваться из когтей благородной бедности, но этому мешает воспаленная гордость и, может быть, то мрачное и строгое наслаждение, которое он испытывает в безропотном перенесении своего положения. Он даже думать не хочет о том, чтоб жениться на Марье. А в Марье по-прежнему играет софийная страсть вычленивать в человеке все скрытое от его собствен-

ного сознания — то, о чем человек хотел бы забыть, но что само в этот момент очень желало бы проявиться. Вот замечательная сценка софийной психотехники:

Княжна Марья в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидит неподвижно... Николаю жалко ее, ему смутно представляется, что, может быть, он — причина той печали, которая выражается на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать что-нибудь приятное...

— Да, княжна, — сказал, наконец, Николай, грустно улыбаясь, — недавно, кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз встретились в Богучарове. Как мы все казались в несчастьи, а я бы дорого дал, чтобы воротить это время... да не воротить.

Марья пытается понять тайный смысл его слов и, кажется, понимает так, что Николай тоскует по прежним несчастьям. — Вам нечего жалеть прошедшего, граф, — говорит она, — вы всегда с наслаждением будете вспоминать теперешнюю жизнь, потому что самоотвержение, в котором вы живете теперь... Тут Николай поспешно перебил ее — задела, видать, за живое! — и опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидела в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком. Она вычленила из-под лужи дурно понятого благородства прежнего своего Николая — ту часть его личности, которая ей в нем единственно только и нужна. Ухватила и не дает ей спрятаться внутрь, держит цепко, умело, как археолог, кисточкой и ланцетом отгребает все наносное, лишнее, сонно... извлекает из-под обломков несчастий подлинного Николая Ростова. В ней проснулся азарт кладоискателя. Внутренний голос шепчет ей: нет, я не одну только красивую внешность полюбила в нем, я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу. Она поняла причину его холодности и теперь своего шанса не упустит:

— Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно... Прощайте. — Она вдруг заплакала и пошла из комнаты. Великолепный удар — Ростов в нокауте: княжна! постойте, ради бога... И далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным.

Москва, 25 декабря 1988. Мною цари царствуют и повелеватели узаконяют правду. Миф доставляет немало примеров свя-

зи софийных женских образов с началами власти. Ход обычно таков: разгадка премудрой загадки — овладение женщиной — воцарение. Не иначе и у Толстого: молодой граф Ростов, по-эдиповски ловко решив задачу усмирения взбунтовавшегося мира княжны Марьи, прозревает за ее лягушачьей внешностью прекрасную душу и таким образом входит во владение ее заколдованным замком.

Что же такое София? По Сперанскому она — Богом устроенная и оплодотворенная мать праобразов. Если размифологизировать этот тезис, то софия окажется матрицей, согласно которой выстраивается мир. Она из себя порождает систему земных архетипов, которые определяют физиономию мира. Эти архетипы обитают в глубинах, как теперь говорят, коллективного бессознательного. Но коллективы бывают разные — одно дело мир богучаровских мужиков и совсем другое — петербургское светское общество. Один и тот же сигнал, попавший в эти разные софийные устройства, дает на выходе разные сгустки культурного смысла. Ибо разные миры по-разному перерабатывают информацию.

”Поскольку Толстой не счел нужным поставить точку над *и* в заголовке своего романа, слово ”мир” на титуле приходится понимать как отсутствие войны. Однако значение ”миръ” (космос, общество) все же слышится в названии и приводит в роман, углубляя его содержание. Декрет 1917 года о новой орфографии, как некий перст судьбы, зафиксировал: Лев Николаич не просто дает банальную оппозицию войны и мира, но и — сопрягает мир (космос) с войной как наитруднейшим подчинением свободы человека законам Бога (голос в Пьеровом сне)”. Один из аспектов такой ”войны” — подчинение человека законам софийной матрицы, то есть воспитание (запрягание) человека для мира данной софии. Человек должен жить по тем образцам, которые он впитал с молоком матери. Если же он восстанет против того, что его породило, культура, в которой он вырос, в конце концов скрутит его и наставит на праведный путь. Ибо блудный сын выступает против себя. И даже бунтовать он будет согласно традиционным схемам походов на теплые реки.

Но Николай-то как раз не бунтует, он просто женился на княжне Марье — западной образованности, привитой на русское древо Петром I, — вступил с ней в ”священный союз”. И это бы-

ло бы очень хорошо, если бы все навыки, все воспитание Николая не было связано с Соней. Боюсь, Соня и Марья будут бороться в душе Николая за право главенствовать. Здесь возникает проблема совместимости тканей.

Лысые Горы, декабрь 1820. Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Казалось, что она не тяготилась своим положением. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всею семьей. Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна, но все это принималось невольно со слишком слабою благодарностию. Марья всегда избирает ее первым предлогом для своего раздражения. Наташа Ростова называет ее пустоцветом... Кажется, что в новых условиях эта допетровская софия бесплодна, однако — в своей хозяйственной деятельности Николай руководствуется именно старыми домостроевскими принципами.

Николай был хозяин простой, не любил нововведений, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве. Когда он взялся за хозяйство и стал внимательно вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание. Николай сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда он стал смело управлять им. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Сие пастораль. Не зря, видно, русский классик носил на шее ладанку с портретом Руссо.

Лев Николаич считает: Николай потому только понял и усвоил себе этот единственный путь хозяйства, приносящий хорошие результаты, что всеми силами души любил этот *наш русский народ*, хоть и воображал себе, что терпеть не может мужика. Но позволим себе уточнить: он любил не народ, а домостроевскую премудрость этого народа — Соню. Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Когда Николай первый раз при ней философствовал и разбил перстень с камеей о зубы дегевенского старосты, Марья сильно плакала. И он не мог в душе своей не согласиться с ней, что то, с чем он сжился с детства, что он считал самым обыкновенным,

— было дурно. "Этого больше не будет. И пусть это будет мне память навсегда", — сказал он, указывая на разбитый перстень с головой Лаокоона. И так упорядочивающе действует Марья на Николая, что всего лишь два раза в год он забывался... Но, побив кому-нибудь морду, он приходил, признавался жене и опять давал обещание, что уж теперь это было в последний раз. Такой установился у них ритуал.

Лысые Горы, 5 декабря 1820. Так значит, живя по-старинному, заведенному обиходу, воплощенному в хозяйственной Соне, Николай пытается ориентироваться на марьины идеалы — смиряет свой нрав, добросовестно читает умные книжки, выписываемые каждый год на определенную сумму... Нет, все бесполезно: с каждым днем открывая в жене новые душевные сокровища и поклоняясь им, он все-таки скатывается к ценностям своей двоюродной материальной софии. Это прямо какая-то насмешка неба над землей — марьяна страсть любить всех ближних так, как Христос любил человечество, оборачивается в голове Николая государственной мудростью: порядок, строгость... — тут его сангвинический кулак сжимается. — И справедливость, разумеется, — потому что если крестьянин гол и голоден, так он ни на себя, ни на меня не сработает... Любовь к ближнему мытаря — так можно назвать его внутреннюю политику социальной справедливости. Что же касается внешней, — то Николай трансформирует стремление марьиной души к бесконечному, вечному и совершенному в заботы о расширении своих владений. Нет, не надо думать, что это какое-нибудь хищничество. Наша политика никогда таковой не была. Соседние мужики (эстонцы с армянами?) сами приходили просить Николая, чтобы он их купил, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. "Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово — хозяин!" Этот восторг перед крепким хозяином и поныне готов разделить всякий российский мужик.

Петербург, ноябрь 1877. Две софии под одной крышей — характернейший факт нашей культуры прошлого века. С одной стороны жесточайший официоз с отточенной формулой министерства народного просвещения: православие, самодержавие, народность. А с другой — не всегда четко отличимые от официоза возвышенные парения выученников немецкой философии славянофилов, которые, на словах осуждая порочную

практику правительственного мордобоя, в сущности оправдывали исконный источник ее — патриархальные архетипы крестьянской общины. Со временем славянофилы — Аксаковы и Данилевские — вообще начнут формулировать мысли, которые официоз по разным деликатным причинам не в состоянии выразить. Марья займется своим привычным делом — отгадыванием того, что имеет в виду хозяин. Ведь без нее Николай почти бессловесен — мычит, что, мол, присяга и долг...

— По-моему, ты совершенно прав. Пьер со своим западничеством экстремизмом забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, что мы можем рисковать собой, но не детьми.

— Ну вот, вот, это самое я и говорил ему, — подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое. А они свое: что любовь к ближнему и христианство, и все это при Николеньке...

Еще одна трансформация марьиных слов. И забавней всего как раз то, что при ребенке нельзя говорить о христианстве. Потому, видимо, что оно несет пугающий код перемен. Из всего христианства Николай понимает лишь то, что всякая власть от Бога. А значит, государственная мудрость должна состоять в том, чтобы как можно точнее воспроизводить в поколениях генетический код, конституирующий именно эти, свои, а не какие-то чуждые принципы. На то и присяга, и долг... А если появятся какие-то мутантные образования, какие-то инородные идеи, завезенные из-за границы, наш фагоцит возьмет саблю в руку и пойдет крошить их в капусту во имя присяги и долга, во имя иммунной идеологии, для которой найдет оправдание Марья. Со своей колокольни он прав, ибо маленький Никулушка Болконский, разбуженный Пьером, легко может вырасти в Герцена или Бакунина. И придется его тоже ссылать...

Лысые Горы, 6 декабря 1832. А еще хуже, если такое случится с его собственными детьми, рожденными графиней Марьей. Обидно, ведь он живет только ради потомства, которое должно воплотить его софийные архетипы. Он собирает земли, устраивает наше состояние... Еще десяток годков жизни, и я оставлю детям... Короче: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

Но графиню Марью нисколько не интересуют эти разговоры о белке, вращающей колесо. Она смотрела на Николая и не

то что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает... На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее. "Боже мой, что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо", — подумал он и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.

И тут мы вместе с Николаем Ростовым должны испытать страх маленького мальчика Николеньки Иртеньева, проснувшегося от удара хлопушки над ухом: бабах! Да ведь это пророческий страх — умрет женщина. И не просто женщина, а — по позднейшей формуле Льва Толстого — женщина, властвующая над властвующим мужчиной. Эта женщина устанавливает общественное мнение и готовит новые поколения людей. Кажется, речь теперь идет уже о настоящей Софии Премудрости Божией. И падения этой путеводной звезды опасается Лев Николаич.

Москва, 1 января 1989. Насколько можно судить, для спасения себя и всех людей от угрожающих зол своего века толстовская путеводная звезда должна была заставить мужчину снять сюртук, панталоны, сжечь книги, накинуть звериную шкуру и идти с дубиной на мамонта. Давай, гнилая интеллигенция, работай, но только не изобретай никаких облегчений жизни, а то, не дай бог, от твоих лекарств понизится смертность, и людей на земле станет слишком много... Тогда мне волей-неволей придется отказаться от своего предназначения — все снова рожать и рожать. Так устами графа Толстого говорит божеество первобытно-общинного строя — Всеблагая Великая Матка.

Любой живой человеческий орган знать ничего другого не хочет, кроме как выполнять свою исконную физиологическую функцию. А отвлеченные игры культуры мешают прямой материнской витальности. Значит, нужно вернуться как можно дальше назад — к землянке и палке-копалке, — чтоб не осталось ни сил, ни времени на вредное изобретательство. Так Великая Мать приносит с собой всю древнюю идеологию в нетронутом виде, как новую: если жизнь человека наполнена трудом, ему не нужно комнат, мебели, разнообразных красивых одежд, ему нужно меньше дорогой пищи, не нужно средств передвижения, рассеяния. Конец цитаты. И после этого нам бу-

дут еще говорить, что создатель ГУЛАГа – Сталин. Да нет, это толстовский человек, одержимый матриархальным бесом Платона Каратаева, лиловым Анубисом. Для такого человека, полагающего смысл своей жизни в труде, а не в результатах его, не в приобретении собственности, не может быть и вопроса об орудиях труда. Человек этот получит то же самое удовлетворение работы, работая и самым непроизводительным орудием. Увы, это тоже Толстой.

Ясная Поляна, 28 августа 1828. Похоже, Лев Николаич сам постоянно проделывал ту же самую философскую процедуру, что Николай Ростов: сориентировавшись на путеводную звезду небесной премудрости и не будучи в силах до нее дотянуться, он оставался один на один с первобытной богиней матриархата. Это судьба. Она задана в первом же абзаце толстовского "Детства", где предвечно качается образок на спинке кровати, и дохлая муха упадет на голову мальчика, предвещающая смерть матери, путеводной звезды. Но логическая операция отделения мухи от ангела и присвоения мертвой мухе ангельского чина (на том сомнительном основании, что у мухи тоже есть крылья), – операция эта, повторяясь, влечет тяжкие последствия. Ты привыкаешь к тому, что ангел есть муха. И Николай уже боится, что Марья скоро умрет. То есть, стремясь к идеалам, воплощенным в образе Марьи, он заранее знает, что снова случится подмена ангела, которому он молится, дохлой мухой. И придется остаться при своей первобытной философии хозяйства, со своим разбитым корытом. А как же иначе, раз, глядя в небо, Николай, как синицу в кулаке, держит в душе метафизический пустоцвет, свою Соню?

Вот и я, желая быть свободным в своих никософских штудиях, мало-помалу скатываюсь в болото нелепого объективничания. Это, увы, поражение, ибо в неверной области, где смысл под пристальным взглядом тотчас умирает (либо воровски выворачивается наизнанку), работа внимания должна быть легка и совсем ненавязчива – как чуткий сон. Путеводная звезда не должна становиться объектом, а иначе можно сбить ее с неба своим дурным взглядом. Так бы я переформулировал принцип неопределенности Гейзенберга для тонкого мира софии.

Петроград, март 1917. Теократически настроенные общества в качестве символов божественной власти своих руково-

дителей воздвигали софийские храмы. Таковы на Руси до сих пор София Киевская и София Новгородская. Таковым был для Византии храм Константинопольской Софии. Овладеть этим храмом было заветной нашей мечтой. Ради этого, по мнению славянофилов, велись все балканские войны. И не только балканские — все наши войны на европейском театре велись, в конечном счете, под лозунгом: даешь Константинополь! Представлялось, что, прибыв свой щит на врата цареградского храма, стоящего на берегу теплых рек, мы завладеем и вечной женственностью, которая уж сумеет оправдать наши теократические притязания на то, что Москва — третий Рим.

Хоть царь Петр и заездил до смерти старого боевого Олегова коня, все же в мертвой конской голове сохранились навязчивые идеи, яд которых, как злая судьба, преследует всякого русского соискателя цареградских духовных богатств. После столетнего периода строгой ориентации на запад, из лошадиного черепа русской истории, шипя, начала выползать гробовая змея азиатчины. К концу прошлого века она уже черной лентой обвилась вокруг наших ног. Но мы продолжали считать, что змею растоптал Медный Всадник. Роковая беспечность, предрешившая наш поворот к дохлой мухе.

Путь к первой мировой войне сопровождался у нас глубоким обострением софийного философствования. Лучшие люди России грезили. Эти грезы весьма высоки, это почти что мир Марьи Болконской. Но и здесь Николай Ростов все опошлил — борьба за Софию, вечный символ женственности, возвышающийся над проливами, обернулась борьбой за сами эти проливы. И даже — о, ужас! — обернулась неприличнейшей физиологией: наши Николаи и Александры рвались отнюдь не к высокой Софии, но к лежащему ниже под нею влагалищу Средиземноморья. В конце концов сей зротический жар обернулся поллюцией — яркие акты любовной борьбы прервала революция.

Москва, январь 1989.



Вадим Линецкий

И. СЕВЕРЯНИН И А. СОЛЖЕНИЦЫН
(К выходу в свет советского издания
"Русского словаря языкового расширения",
сост. А.И.Солженицын, М., Наука, 1990)

Пора популяризировать изыски, утончаться вкусам народа...

И. Северянин

...И мне захотелось как-то еще иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему — особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка...

А. Солженицын

Известное созвучие мыслей двух авторов — еще, конечно, не повод соединить их имена в заглавии статьи коварным союзом "и". Что общего у забубенного эгофутуриста Игоря-Северянина с последовательным традиционалистом Солженицыным? Уж не то ли, что в лице первого русская литература приобрела "короля поэзии", а в лице второго — лауреата Нобелевской премии?.. И нет предела возмущению, и как смеет автор... Спокойно, господа, спокойно. Автор смеет, ибо, полностью отдавая себе отчет в том, что эфемерный королевский титул, присвоенный к тому же демократическим путем, и престижная литературная премия в твердой валюте — вещи несоизмеримые, в виду имеет совсем другое.

Звездочкой в статье помечены слова языка Солженицына.

Так сложилось, что к "городу и миру" Александр Исаевич Солженицын обращен преимущественно своей пророческой ипостасью, несколько заслоняющей от публики Солженицына-языковеда, словотолкователя, словотворца. Укором нашей невнимчивости* стало издание в отечестве "Русского словаря языкового расширения", почти совпавшее с публикацией посильных соображений Солженицына "Как нам обустроить Россию". Казалось бы, обе эти ипостаси — пророческая и языковедческая — прекрасно могут сосуществовать "под крышей" одной личности, тем более такой значительной, как А.И.Солженицын. И все же есть тут, на мой взгляд, одна тонкость, на которую хотелось бы обратить внимание.

Согласно традиции, пророк должен быть косноязычен, либо это не пророк, а, простите, шарлатан. Указанное правило сохраняет свою силу и для светской культуры, в рамках которой пророк, лишенный надежных истолкователей, в стилистическом отношении скорее прост, даже элементарен. С этой точки зрения представляется, что забота о стиле, о языке — не самое подходящее занятие для пророка.

Выбор, к которому мы так деликатно подталкиваем читателя, — жесткий, а, пожалуй, что и жестокий. Однако, собрав в кулак весь свой радикализм, мы не остановились бы и перед ним, когда бы не практическая сложность, поджидающая всякого, кто даст себе труд провести демаркационную линию между косноязычием и особо утонченным или прихотливым стилем. К тому же вопрос о том, по какую сторону от нее располагается феномен языка Солженицына — как следует не разработан. А посему имеет смысл прибегнуть к мышлению по аналогии и подыскать языку Солженицына аналог — в надежде, что это наконец-то позволит определить истинное место Солженицына в русской культуре.

И вот, обозревая родные просторы оной, я не вижу иной фигуры под стать Солженицыну, как только Игорь-Северянин, вошедший в отечественную словесность как пропагатор различных словесных изысков, причудливых и своеобразных. Положим, что все эти северянинские "грезеры" и "грезерки", "эксцессеры" и "эксцессерки" только оскорбили бы чуткий слух Солженицына, для которого и "уик-энд"-то невыносим (Хотя: в "Русском словаре..." встречаем сходные формы усвоения иностранных слов, как то: "организовка", "аплодиров-

щик", "протестный", в один ряд с которыми хорошо вписываются северянинские глаголы "центрить" и "популярить"). Но касательно "накорзинить", "захоронок"*, "безлучье", "бытчик"*, "возможник", "неиссячный", "предислов" — уже трудно сразу сказать, чьих рук это дело. С другой стороны, заявленное Солженицыным в "Объяснении" к "Русскому словарю..." намерение расширить язык за счет слов областных, диалектных — совпадает с направлением поисков Северянина, смысл которых сформулирован им так: "Иду туда, где вдохновитель/Моих исканий — говор хат". И здесь я уже не могу не привести цитату из "Окаянных дней" Бунина, без которой я добросовестно старался обойтись: "А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного ("ядренного и сочного") народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью! Последнее (после всех интернациональных "исканий", то есть каких-то младо-турецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык... роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то пахабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно!" Остается добавить, что, по Бунину, в этом филологизме как раз и проявлялось "всеобщее падение чутья" к русскому языку...

Сознавая всю эвристическую ценность нашей параллели, мы предоставляем читателю самому углубить ее, сравнив какой-нибудь характерный кусок прозы Солженицына с выбранной наугад поэзией Северянина, а сами предупредим зреющий вопрос: почему наш радикализм, о котором мы предупредили читателя, отказал нам на этот раз, и мы остановили наш выбор на "промежуточной" фигуре Игоря-Северянина, малодушно воздержавшись от параллели с Хлебниковым, у которого, если уж на то пошло, языковые эксперименты имеют более глубинный характер?

Потому, выковырчивый* ты наш читатель, и воздержались, что эксперимент Хлебникова по сути стирал ту грань между формой и содержанием, которую — напротив — акцентировало экспериментаторство Северянина, шедшее как бы по-

мимо содержания, остававшегося элементарным в своем замкнутом психологизме. Нечто подобное мы наблюдаем и у Солженицына — в рассказах, "Раковом корпусе" и "Красном колесе". Что до последнего, то словесные кунштштюки способны, правда, несколько облегчить чтение этой капитальной эпопеи. К примеру, пока в "Октябре шестнадцатого" поспешно развивается любовное интермеццо между полковником Воротынцевым и профессором Андозерской, где-то на задворках сознания еще не гаснет удивление перед какой-нибудь встреченной на первых страницах словесной диковинкой, и энергия этого удивления позволяет благополучно преодолеть психологические глубины и лирические подъемы повествования, представляющего собой контрапункт северянинского "В грехе — забвенье" и "Дневника писателя" Достоевского.

За всем тем, как бы сдержанно мы ни оценивали художественные достоинства северянинской поэзии, следует напомнить, имея в виду нашу параллель, что сам себя поэт осознавал не лириком или психологом, а историком ("Я — в поэзии историк") и эгофутуристом, сиречь: пророком ("Литературного Мессию / Во мне приветствуют порой"). Тем самым мы возвращаемся к вопросу, который был задан применительно к Солженицыну: совместимы ли эти две ипостаси?

Как известно, любой спор в России имеет в своей подкладке историю (хотя: упоминание о некоторых ее моментах требует мужества — сродни тому, какое необходимо, чтобы заговорить о веревке в доме повесившегося). Но поскольку единственным русским историографом в веках было Государство, наша история мифологизирована настолько, что наиболее достоверным ее свидетелем в конечном итоге оказывается язык. Ничто так явно не отделяет у нас одну эпоху от другой, как смена языка, появление одних слов и исчезновение других. Поэтому писателю достаточно погрузиться в язык, чтобы дать достоверный образ эпохи. Тем более досадно, что наши литераторы дерзают соперничать на историографическом поприще с Государством — плохим или хорошим, а все-таки профессиональным историографом — и по своей переимчивости* усваивают метод последнего, пригодный единственно для запуска воздушных замков, которые затем и парят невозбранно над нашим настоящим, минувшим и будущим, сливающимися в одно обширное "белое пятно". Поэтому наших историков из

числа писателей уместно назвать футуристами, а постольку поскольку в своих изысканиях они полагаются исключительно на собственное чутье, уточнить: эгофутуристами. Если к тому же верно, что 73 года советской власти — лишь отсрочка падения Российской Империи, несостоявшегося в 17 году, то глубоко закономерно, что современная отечественная словесность заимела фигуру, которая с большей ответственностью продолжила дело, к которому так легкомысленно отнесся Северянин: эгофутуристическому сотворению будущего России и прежде всего ее языка, ведь язык — это наше все, ибо, кроме языка, мы ничего не имеем, поскольку "процесс литературы в России всегда заменял процесс жизни" (В.В.Розанов). В высоком предвидении скорого краха многонациональной Империи, чреватом самыми непредсказуемыми последствиями для языка-гегемона, этим делом занят А.И.Солженицын, языковые поиски которого наконец-то приобретают осмысленность после издания "Русского словаря языкового расширения", имеющего откровенно эгофутуристическую цель, как это признаёт и сам составитель: "...Так зародилась мысль составить "Словарь языкового расширения" или "Живое в нашем языке": не в смысле "что живет сегодня", а — что еще может, имеет право жить... Я опирался на личное языковое чутье, примеряя, какие слова еще не утратили своей доли в языке или даже обещают гибкое применение". Иначе говоря, словарь ориентирован на будущее, это словарь будущего языка будущей России, и — в силу указанных выше причин — по этому словарю мы можем в известной мере судить о том, что нас ожидает.

Каков же образ будущего, который встает со страниц словаря? Из кидającego в глаза, отметим хотя бы — учитывая наличие в словаре раздела слов, относящихся к лошадям, — что в России, обустроенной в соответствии с планом Солженицына, будет, видимо, много лошадей, и, если коммунистические правители не сумели обеспечить каждую семью автомобилем, то по крайней мере есть надежда, что в будущем каждая семья получит лошадь. Против этого трудно что-либо возразить, ибо лошадь — прекрасное животное и вместе с тем — средство передвижения, безопасное с экологической точки зрения. Так что гимном новой России, вероятно, станет несправедливо забытый марш кавалеристов времен нашей с Солженицыным юности, который в новой редакции будет звучать, надо пола-

гать, так: "Мы белые (вариант: русские) кавалеристы и про нас..." Загвоздка в том, что наша вера в онтологизм собственных слов склонна довольствоваться словами и мириться с отсутствием вещей... Много обещает и другой замысел Солженицына, на который намекает второе Приложение к "Русскому словарю...": полностью (а иначе какой смысл?) обновить запас русского языка по части бранной лексики. Видимо, в новой России мат станет мертвым языком. Жалко, конечно: все же таки язык отцов. Но, с другой стороны, нельзя не отдать должного прагматизму Солженицына, выгодно отличающего его от того же Достоевского. Прекраснодушно сетовать в "Дневнике писателя" на "спокон веку принятый во всей Руси язык, который состоит из одного нелексиконного существительного, чрезвычайно удобно произносимого" — это, знаете, каждый может, а вы попробуйте дать народу что-нибудь взамен. Все мы согласны с тем, что народ наш — большой ребенок. Но ругается он и в трезвом виде, как пьяный извозчик. Ке-фэр? Очевидно, предложить ему ругаться цензурно, то бишь по-новому, по-солженицыновски. Будущее покажет, нуждается ли народ русский и в этой области в педагогах, но уже сейчас можно говорить о том, что ни одна сторона жизни в будущей России не осталась без внимания Солженицына.

А если серьезно, то нужно сказать еще вот что. "Русский словарь...", как и неологизмы, пестрящие сочинения Солженицына, — рецидив изоляционизма на филологическом уровне — того самого изоляционизма, который не позволяет старообрядцу пользоваться одной посудой с людьми, не принадлежащими к расколу. Сходным образом рассуждает и Солженицын: если слово побывало в подозрительных руках, то от этого слова нужно отказаться, заменить его новым (или старым), своим (в этом смысле показательна настойчивость, с которой Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" заменяет "великий перелом" — "великим перешибом"). Такая установка — через голову Игоря-Северянина — возвращает нас к "Беседе любителей русского слова", из репертуара которой предложенная в "Русском словаре..." замена "гуманитарных наук" на "языковые науки". Это приводит к выстраиванию параллельного синонимического ряда, о необходимости которого в языке и без того богатом синонимами, каков русский, мягко говоря, можно спорить. Так что и впрямь мы имеем дело с языковым расшире-

нием, но расширением экстенсивным, не вглубь, авширь. И в этом отличие экспериментов Солженицына от поисков Хлебникова, целью которых было приближение к смыслу, Логосу. "Слово (в смысле Иоанна) принадлежит только Богу; человеку оно недоступно; он имеет только слова... все наши слова суть только отрывки чего-то целого; сколь бы ни была велика их цепь и что бы она ни обнимала, все она будет один отрывок, ни к чему не принадлежащий, если первое звено ее не крепится к вечному, все выражающему Слову, к Богу" (В.А.Жуковский). Не потому ли мы так далеки от Бога, что цепь слов нашего языка — одна из самых длинных, и, перебирая ее звенья, нам не хватает жизни, чтобы добраться до последнего, решающего Звена?.. Но я не буду продолжать. Хватит. В конце концов, как можно прочитать у Св. Отцов Церкви, "Слова суть орудия века сего, а молчание есть таинство будущего века".

В силу собственной исторической ограниченности, мы не беремся судить о том, станет ли русский язык в результате его расширения действительно тем "языком предельной ясности", о котором не без сочувствия поведано в одном из романов Солженицына, или же превратится в очередной новояз, поначалу маскирующийся под "старояз". Указав на принципиальное сходство установок Солженицына и Северянина, мы полагаем нашу задачу удовлетворительно выполненной, тем более, что на основании сказанного мы можем частично защитить Солженицына от традиционно предъявляемых ему обвинений. С "Русским словарем языкового расширения" в руках я берусь утверждать, что на нынешнем этапе А.И.Солженицын является уже не столько "русским аятоллой", сколько основоположником новорусской письменности, создание которой все же более посильно писателю, чем обустройство России, благо для этого необходимы лишь целеустремленность и желание. Как известно, наличие этих качеств у Северянина сделало возможным рождение из недостатка вкуса эгофутуризма, единственным представителем коего Северянин и остался.

Ленинград



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

СОСТАВИЛ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН

ЗЛОНЫРИТЬ, ЗЛОНЫРИЧАТЬ —
изворачиваться происками

ЗЛООБРАЗНЫЙ
ЗЛООБЫЧНЫЕ
ЗЛООБЫЧНЫЙ
ЗЛОПИСАНИЕ
ЗЛОПЛОДНЫЙ
ЗЛОПОМИСЛИВЫЙ, ЗЛОПОМИСЛЬ
ЗЛОПРИОБРЕТЕННЫЙ — неправдою нажитый
ЗЛОПЫТЛИВЫЙ, ЗЛОПРИМЧИВЫЙ
ЗЛОРАДЛИВЫЙ (М-Пч)
ЗЛОРАДЕЦ, ЗЛОРАД, ЗЛОРАДКА
ЗЛОРАДЕНИЕ — прилежание ко злу
ЗЛОРАЗУМНЫЙ
ЗЛОРАЗУМЬЕ
ЗЛОРЕЧИЕ
ЗЛОСЕРДЫЙ
ЗЛОСЛАВНЫЙ
ЗЛОСМРАЛЬНЫЙ
ЗЛОСОВЕСТНЫЙ
ЗЛОСОВЕСТИЕ
ЗЛОСОВЕСТИК, ЗЛОСОВЕСТИЦА
ЗЛОСТРАСТИЕ
ЗЛОСТРАСТНЫЙ
ЗЛОТВОРСТВО
ЗЛОТВОРНЫЙ
ЗЛОТВОРЕЦ, ЗЛОТВОРКА
ЗЛОТВОРЕЦЬ ст (Еси)
ЗЛОУМЬЕ
ЗЛОУМНЫЙ, ЗЛОУМНЫЙ члв.
ЗЛОУМСТВОВАТЬ
ЗЛОУСТЫЙ
ЗЛОУТРОБНЫЙ

МОСКВА "НАУКА" 1990

КОНЧАЛЫЙ (напр. абитуриент)
КОНЦЕВЕСЕННИЙ
КОНЦЕЗИМНИЙ
КОНЦЕЛЕТНИЙ
КОНЦЕОСЕННИЙ
КОНЦЕПОЛОСНЫЙ
КОНЦЕСВЕТНЫЙ, КРАЕСВЕТНЫЙ
вм. конкурс м.ск. СОИСКАТЕЛЬСТВО,
СПОРОВАНИЕ



ВСКАЙКА — ДИ. ПО ГЛГ.
ВСКВАКАТЬСЯ

вм. бакенбарды инг.м.ск. БОКОУШИ

(А что на это скажет Пушкин? — М.Р.)



ОБЪЯСНЕНИЕ

С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря — для своих литературных нужд и языковой гимнастики. Для этого я сперва читал подряд все четыре тома Даля, очень внимательно, и выписывал слова и выражения в форме, удобной для охвата, повторения и использования...

Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишён их по своему южному рождению, городской юности, — и которые, как я всё острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словопотребления и по холостяцкому советскому обычаю.

...И мне захотелось как-то ещё иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему — особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка, а насытить её — у них нет того многолетнего простора, который использовал я. И вообще для всех, кто в нашу эпоху оттеснён от корней языка затёртостью сегодняшней письменной речи. Так зародилась мысль составить «Словарь языкового расширения»...

С 1975 года я для этой цели заново стал прорабатывать словарь Даля, привлекая к нему и словный запас других русских авторов, прошлого века и современных...

и слышанное мною самим в разных местах — но не из штампов советского времени, а из коренной струи языка.

Лучший способ обогащения языка — это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. Так и французы в начале XIX века (Ш. Нодье и др.) пришли к этому верному способу: восстанавливать старофранцузские слова, уже утерянные в XVIII веке. (Но нельзя упустить здесь и других опасностей языку, например, современного нахлына международной английской волны.

...если беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как «уик-энд», «брифинг», «истеблишмент» и даже «истеблишментский» (верхоуставный? верхоуправный?), «имидж» — то надо вообще с родным языком распрощаться. Мои предложения могут и не быть приняты, но не защищать язык по этой линии мы не можем. ...Этот словарь имеет цель скорее художественную.

А. Солженницын
1988



ВКОРЁНЧИВАЯ ИДЕЯ

всё упихал (съел)
пих его в канаву!
СОВМ ДА ПИХОМ
пхач м. — кто толкает
пишный — 1. отн. к пище.

вм. консервативный — ОБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ

вм. контролёр — ПОВЁРШИК

вм. контур — ОЧЕРК, ОКОЁМОК

НЕКОТОРЫЕ БРАННЫЕ СЛОВА

БАБАБАН — болван
 БАЛАБОЙ м. — болтун
 БАЛАХВОСТ
 БАЛАХРЫСТ
 БАРАНДАЙ, БАРАНДАХА
 БОСОМЫЖНИК
 ВАЛУЙ м.
 ВАЛВА об. (кто лежит да ест)
 ВАХЛЫЙ, ВАХЛЫЙ
 ВЕРСТАН
 ВЕТРОГОН
 ВИСЛЯЙ м.
 чтоб тебе ни всходу, ни умолоту
 ВЫЖИГА — ухорез, пройдоха
 ВЫПЕНТЮХ — самодовольный дурень
 ГАДОВЫЕ собр.
 ГЛИСТА об.
 ГЛУПЕНДЫЙ м.
 ГЛУПЕНЯ об.
 ГЛУПОДУРЫЙ
 ГЛУТЫНЯ об.
 ГНУСАРЬ, ГНУСИХА
 ГОЛОВА-ДВА-УЖА! (Зит)
 ГОЛОШАТ, ГОЛОВЫМГА
 ГОЛОВАП (голоштанник)
 ГОРДАЙ, ГОРДЫБАКА
 ГОРЛОПАЙ м.
 ГУБОНЯ об., ГУБДУЙ м.
 ГУГНИВЫЙ
 ДАРМОГЛЯД
 ДОБЫВАШКА об.
 ДОДОН (нескладный)
 ДОЛЬЕНЬ м. — дурень
 ДОЛГАЙ, ЖЕРДЯЙ
 ДОШЛЕНОК
 ДРЯНЦА С ПЫЛЬЦОЙ
 ДРЯНЧУЖКА
 ДУБОТОЛК (долдон)
 ДУРАК В НАГНЕТ
 ДУРАК В ПРИГЛУСКУ
 ДУРАНДАЙ, ДУРАНДАС
 ДУРАНДАШНИК
 ДУРБЕНЬ м.
 ДУРНОСОП
 ДУРОПЛЕТ
 ДУРОУМЫЙ
 ДУРУША, ДУРАФЯ
 ЖАБЕНОК (злос дитя)
 ЖЕМЖУРА ж. — провора
 ЗАВОРУЙ м. — плут
 ЗАДРЕПАНЕЦ
 ЗАДРЕПА об.
 ЗАМАЗУРА об.
 ЗАХУХУРЯЙ м. (растрёпа, нечёса)
 ЗАЧУПАХА об.
 ЗАКРОЙ ЗЕВЛО!
 ЗЛОДЫГА
 ЗЛОДЫРЬ
 КРАПИВНОЕ ОТРОДЬЕ

ЛАДИЛО Б ТЕБЯ НА ОСИНУ!
 ЛАТАТУЙ (олух)
 ЛЕШЕБОЙНИК (Зит)
 МАЛАМЗЯ об.
 МИМОЗЫРЯ об.
 МОРМОТЕНЬ м.
 БАШКА НЕЗАПЛАТАННАЯ
 НЕПОВОРОТА об.
 НЕУМЫВАКА об.
 ЧТОБ ТЕБЕ НА НОЖЕ ПОТОРЧАТЬ!
 ОБВИСЛЯЙ м.
 ОБЛАМОН
 ОБЛАПАЙ м.
 ОБЛОМАЙ м.
 ОБЛОДОХА об.
 ОБОЛТЕНЬ м.
 ОГОЛТЕНЬ м.
 ОКАЯХА об. (Зит)
 ОКОЛОТЕНЬ м.
 ОРЯСИНА м.
 ОСЛОП м. (дубина)
 ОСТОЛБЕНЬ м.
 чего ГЛАЗА ОСТРОБУЧИВЬ!
 ОТЕРХАН (Зит)
 ОТОРВЯЖНИК (Зит)
 ПАКОСТУН
 ПАНТЕХА об. — разина
 ПЕНТЮХ, ПЕНТЮХ
 ПЕРХОТУН
 ПЕСТ (упрямый)
 ПЕСЬЯ ЛОДЫГА
 ПЕТЛЯЙ м.
 ПЕХТЕРЯ об. (неповорота)
 ПИНЮГАЙ
 ПЛЕСНЯК
 ПЛЕШАК
 ЧТО ПЛОШКИ УСТАВИТ
 ПЛЮГАВЕЦ
 ПУСТОПЛЕТ
 РАЗБЕГАЙ м. — ветрогон
 РАЗБРЫНДА об.
 РАЗВИХЛЯЙ м.
 РАЗВОЗЖАЙ м.
 РАЗДУЙ ЕГО ГОРОЙ!
 РАЗВЕВАЙ м.
 РАЗМАХОЛЯ об. — разгильдяй
 РАЗОРВА (о жнщ.)
 РАСТРЕПАЙ м.
 РАСХЛЕБЕНЯ об.
 РАСШЕПЕРЯ об. (растопыря)
 РЕХА об.
 СБРЮЛЫГА
 СИПАК, СИПАЧКА
 СИСЯ (неопрятный члв.)
 СОПУН
 ЧУВАХЛАЙ м.
 ЧУДОРОД (Зит)
 ЧУМАЗЛАЙ м.
 ЧУПАХА об.



ВТЕСАТЬСЯ НЕВЕЖЕЙ
 ВКОПЫЛИТЬСЯ куда —

ВСКОБЕНИТЬ кого куда —

БРАЛЕЦ — постоянный покупатель
 БЕРЕЯ — ирх. женщина, собирающая ягоды

БАРАБАТЬ — пере

НЕ БАРАБАЙ В МОЕЙ

ЧУЖОЕ БАРАБИТ, БАРАБЛИТ

НЕСТИ БАРАБОРУ — ВОДВОРЯНКА — вселённая (напр. эвакуированная)

БАРАБОШИТЬ — ВО-ДЕ-ВО. ВОДЕКА, ВОДЕ (зримая б.)

БАРАБОШЬ ж. — барабора

ЕМ

ЕМОК — х

В ОДИН ЕМ

ЕМКИ ...

в.м. **якклимвтизировать** инг.м.ск. **ПРИУРОЧИТЬ**

в.м. **якростих** инг.м.ск. **КРАЕСТИШЬЕ**

в.м. **яксельбяят** — **ОПЛЁЧЬЕ. НАПЛЁЧНИК**

в.м. антагонист инг.м.ск. СҮПРОТЕНЬ м.

в.м. антипатия — ПРОТИВОСТРАСТИЕ.

АПЛОДИРОВШИК — рукоплескатель

в.м. апробировать — ОПРОБОВАТЬ,

ВЕРХОСЫТКА — десерт. заедка

ВЕРХОШАП — верхогляд

ВСОЧА. ВСОЧКА — дй. по глг.

ВСВАЛ нч. (Ключ)

В-СВИН-ГОЛОС нч. — запоздало, некстати

в.м. браконьер инг.м.ск. ПОСТРЕЛЬЩИК.

ОБЛОВЩИК. дичекрад

ВСКОВЫГ, ВСКОВЫРКА

СПОРОВАНЬЕ

Редакция "Синтаксиса" объявляет
соискательство (конкурс)
на лучшую статью, очерк, рассказ, стихотворение,
попшужник, частуху-складуху
(или частуху-нескладуху)
о языке и стиле писателя Солженицына
и других одинокупных писиев.

Примечание. Охульные статьи не принимаются.

ПИСЕЯ ж. — мастерица бойко, чисто, складно
писать

Писий — то же, но мужского рода (ред.)

Петр Вайль, Александр Генис

УРОКИ ШКОЛЫ ДЛЯ ДУРАКОВ

Саха Соколов

Если будущее и прошлое действительно существуют, то я желал бы знать, где они существуют.

Августин

1.

Главной преградой для Соколова был сам язык. Его "Школу для дураков" нельзя было писать словами, хотя ничего другого автору, понятно, делать не оставалось.

Язык разворачивает текст в линейное повествование. Если вначале было слово, то вслед за ним должно появиться другое, вызванное не только волей автора, но и грамматической необходимостью.

Слева направо, сверху вниз, от первой страницы до последней — сама техника письма диктует автору последовательность, жесткую схему изложения, в которой, казалось бы, безобидные "раньше" и "позже" перерастают в куда более грозную для свободы автора причинно-следственную связь: после значит вследствие.

Однако Соколов писал "одновременную" книгу, антикнигу, где пагинация и переплет нужна не автору, а типографии.

"Школа для дураков" напоминает не свиток, разворачивающийся в пространстве и времени, а живопись, картину. Или — точнее голографическое изображение, где запечатленные объ-

екты живут в сложной, подвижной, зависящей от угла зрения взаимосвязи. Хотя элементы голограммы раз и навсегда застыли в стеклянном плену, мы, приближаясь или отходя от изображения, заставляем их двигаться, оживать.

Позиция зрителя здесь аналогична положению рассказчика "Школы для дураков", который бродит вокруг своей книги, останавливаясь там, где ему заблагорассудится.

Чтобы предотвратить разворачивание текста в книгу, Соколову необходимо было преодолеть губительную для его замысла зависимость от традиционных языковых структур. Решая эту общую для литературы XX века задачу, он решился на своеобразную вивисекцию языка.

"Школа для дураков" написана особым методом, с которым автор позаботился ознакомить читателя с первых страниц.

Прежде всего он расставил по тексту предупредительные, вроде бакенов, знаки, напоминающие о том, что все слова делятся на два вида: настоящие и искусственные. Есть слова свободнорожденные, а есть — искусственные, механически составленные, и потому пустые, случайные. Первые живут органической жизнью — в них заключена внутренняя энергия роста, как в семени. Вторые — продукт общественного договора. Первые — от Бога, вторые — от людей. Первым доверять можно и нужно, вторым — ни в коем случае.

К ложным словам относятся все, что пишется с большой буквы: "Можно придумать условную фамилию, они — как ни крути — все условные, даже если настоящие".

Имя, название для Соколова — закрепощение того, что оно обозначает в случайной звуковой оболочке. Поэтому автор, задаваясь вопросом, "как река называлась", прибегает не к ответу, а к умолчанию: "река называлась".

Где может, Соколов пользуется вместо имени местоимениями или описательными названиями: "Начальник Такой-то" или "Те, кто Пришли". Но и там, где у него появляются имена собственные, они всегда протеичны, они никогда не застывают, в окончательной, как в паспорте, форме: Савл-Павел, Медвед-Михеев, "река называлась".

Истребляя механические, придуманные слова, Соколов с абсолютным доверием относится к словам естественным, живым.

Соколов, как и многие его коллеги-современники, испо-

ведует пантеизм языка. Взламывая сросшиеся конструкции, он наделяет самостоятельным значением каждую часть языковых структур. У него говорящая лексика, фонетика, синтаксис, грамматика. Соколов не пренебрегает малейшей возможностью вслушаться в приставку, суффикс, глагольную форму, падежную флексию. (Вспомним те одиннадцать глаголов-исключений из второго спряжения, которые автор сделал эпиграфом-метрономом: "Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть".)

Соколов не строит образы, а вызывает их — как заклинатель духов — из языка.

Так, расчленив слово "иссякнуть", он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок — "сяку". Отсюда уже родилась и целая гравюра в стиле Хокусая — с заснеженным пейзажем ("В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе") и обратившимися в японцев путейцами Муромачу и Цунео-сан.

Все слова у Соколова — беременны. Язык для него экспериментальная делянка, на которой он выращивает свои образы, сад, в котором он срывает цветы для икебаны, не стесняясь, как и изобретатели этого искусства, подчинять их естественную форму своим художественным задачам: "на почве — на почте — на почтамте — почтимте — почтите — почуле — почти что" — и так далее.

Оживляя язык, наделяя смыслом служебные фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение его конструкций: язык обретает самостоятельное существование. "Что выражено" и "чем выражено" сливаются воедино.

Иллюстрацией этого оригинального процесса служит одна из центральных метафор книги — мел. В пространном отступлении Соколов создает картину-прообраз своего произведения: "Все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне: люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы, и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита".

Когда мы пишем мелом достаточно долго, как Соколов, он стирается без остатка. То, чем мы пишем, становится тем, что мы написали: орудие письма превращается в его результат, средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом.

Меловой мир Соколова, как его книга, есть результат полного воплощения языка в текст — без остатка. Сделав язык героем романа, он преодолел дуализм формы и содержания, который и придает книге видимость рассказанной истории — с концом и началом.

Соколов растворяет причинно-следственную связь в языке, который не подчиняется категории времени, являясь источником его.

2.

Саша Соколов — один из многочисленных в современной литературе авторов, которые разрабатывают метафизику языка. Язык для него та первичная стихия, в которой заключены все возможности развития мира. Мир и есть язык. Точнее, бесконечная совокупность миров, реальностей, которые способен породить бесконечный язык.

В языке все мыслимые и немыслимые формы бытия существуют, как на складе, в не востребованном виде до тех пор, пока художник не вызывает их к жизни.

Соколов, пользуясь этим универсальным хранилищем категорий, строит свое повествование не как нить, а как ткань. В естественной, казалось бы, последовательности событий он видит лишь ущемляющую его свободу условность. Из неограниченного запаса идеального времени, представленного языком, он выбирает только настоящее: Соколову важен лишь момент высказывания.

Язык существует в вечности, но речь — только в настоящем времени: не всегда, а сейчас. Все, что происходило или произойдет в реальном мире, в субъективном сознании героя, локализуется в настоящем времени высказывания, в моменте произнесения.

Герой Соколова обретает власть над временем, располагая все события в плане "одновременности". С гордостью он

постулирует принципы своей свободы: "Можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано, но я, выбравший свободу, одну из форм, я волен поступать, как хочу, и являться, кем угодно вместе и порознь".

Объясняя устройство своей вселенной, герой "Школы для дураков" описывает календарь его жизни — "листочек бумаги со множеством точек", где "каждая точка означала бы день".

Эти дни-точки никак не соотнесены между собой по хронологии. Они существуют в безвременном хаосе до тех пор, пока автор не оживит любой из них моментом высказывания. Только "произнесенный", описанный, вызванный в памяти день обретет жизнь.

Распоряжаясь временем по своему выбору, герой компенсирует тем самым свою замкнутость в пространстве: меняет свободу передвижения на свободу передвижения по времени.

Мир "Школы для дураков" надежно — и безнадежно — ограничен: он весь помещается внутри кольцевой железной дороги, дороги никуда. Бегство вовне невозможно. Стальная петля вокруг города, рельсы, по которым навстречу друг другу ездят пришедшие из задачника поезда А и Б, символизируют замкнутость вселенной. Пространство вокруг героя свернулось. Дорога как источник неожиданностей, встреч, авантюрных случайностей в классическом романе — у Соколова переосмыслена как непреодолимая граница. Упершись в нее, он находит для себя лазейку: меняет пространство на время.

Вместо того, чтобы нанизывать события на стержень линейного сюжета, Соколов размещает свой текст во времени, которое приобретает у него топографические характеристики, вещественность, материальность. В его романе "когда" сливается с "где".

Образ овеществленного времени в "Школе для дураков" явлен в сугубо материальной метафоре: "Маятник, режущий темноту на ровные тихотемные куски, на пятьсот, на пять тысяч, на пятьдесят, по числу учащихся и учителей: тебе, мне, тебе, мне".

Каждый получает свой кусок времени, у каждого оно свое, личное. И если пространство иллюзорно, сомнительно, опасно ("пропадет — растает"), то время ощутимо, весомо, зримо, надежно: оно всегда с собой, всегда под рукой, перед глазами. Оно расположено в пространстве памяти.

Герой Соколова по-настоящему живет в картинах, которые он прокручивает на экране своего сознания. Ведь воспоминание знает лишь настоящее время: ни прошлого, ни будущего тут не может быть вовсе. Вызывая в воображении любое событие прошлого, герой перемещает его в настоящий момент. Более того, в его памяти все события живут одновременно, и только волевое усилие наделяет их категорией времени.

В этом прослеживается тонкая аналогия с языком: и память, и язык живут независимо от внешнего мира. Но, если язык принадлежит всем, то память у каждого своя. Она — максимально индивидуальна, субъективна.

Главный конфликт книги строится на перекрестке, образуемом личным временем и личной памятью героя с "наружным" миром, где общее, историческое время течет, как ему положено: из прошлого в будущее.

Этот мир в книге лишь просвечивает сквозь реальность, порожденную памятью героя.

Внешнюю действительность герой пропускает сквозь свое искаженное представление о том, каким мир бывает, каким он должен быть. Причем знание это ученик "школы для дураков" черпает как будто из учебника, из некоего разговорника для взрослых.

Описывая свои вымышленные контакты с внешним миром, герой пользуется ограниченными, трогательно бедными представлениями о жизни.

Он, живущий в оболочке личного времени, лишенный чувства универсального, социального времени, воспринимает эмпирический мир, как слепой. Герой обставляет чужую ему реальность придуманными подробностями, наивно скопированными из "учебного пособия по нормальной жизни".

Мир вокруг него и правда нормален и зауряден. Необычен он сам: исключение из нормы. Поэтому мир и герой в романе существует в разных измерениях. Их реальности накладываются, просвечивают одна сквозь другую. Результат этого совмещения — рефракция, придающая тексту зыбкий характер видения, в котором логика заменена произволом подсознания. Что-то, вовсе неважное, мы видим во сне ярким и четким, но выбрать объект наблюдения — не в наших силах.

Эта беспомощность и есть болезнь героя. Его одиночество, предельная замкнутость в коконе "своего" времени и при-

водит к раздвоению личности. Отчаянная потребность в диалоге материализуется в вымышленном собеседнике.

Вся книга Соколова — это монолог, который от тоски по понимающему слушателю превратился в диалог героя с самой собой.

3.

В "Школе для дураков" постоянно сопоставляются два временных плана: историческое время эмпирического мира и сакральное, мифическое время мира идеального. Все, что принадлежит первому, чревато плоскими — опять-таки из разговорника — представлениями о реальности. Здесь все обесмыслено глупыми, ненужными поступками: надо приносить в школу тапочки, слушаться отца, учиться на инженера и "отвечать на все вопросы".

Зато вторая реальность — реальность мифического времени — полна идеальной гармонии. Мир здесь слит с природой, растворен в ней. Ветер, река, цветы, бабочки — все тут устроено правильно, то есть — навечно.

В эмпирическом мире — все преходяще, все временно. В мире героя "Школы для дураков" царит вечность. (Только тут и могут жить "зимние бабочки".)

Создав вселенную по своим законам, Соколов столкнулся с главным препятствием на пути ее реализации в сознании своего героя — со смертью. Смерть — тот неизбежный момент, который связывает личное время с универсальным. Ей безразличны ухищрения автора: она одна способна преодолеть границу между внешним и внутренним миром. Смерть находится по обе стороны того пространственно-временного континуума, который защищает героя. Смерть — момент истинного времени, уничтожающий различие субъективной и объективной реальности.

Столкнувшись с этой "временной" неодолимостью смерти, Соколов создает обратное течение времени. Взрослея, его герой идет вперед, обернувшись назад. Он живет в "наоборотном" времени. Герой Соколова не только стремится победить жизнь, вырвавшись из социального, исторического времени, он, сражаясь и с биологическим временем, преодолевает смерть, растворяя ее в вечном круговороте природы.

Образы обратимой смерти, воплощенные в метаморфозах растительного мира, в книге становятся знаками идеального существования. Поэтому герой и завидует каким-нибудь бессмертным рододендронам, "так как вся природа, исключая человека, представляет собою одно неумирающее неистребимое целое".

Вот это исключение — человека — и хочет включить в общее правило герой "Школы для дураков". В созданной им утопии время человеческой жизни идет от смерти назад — к бессмертию. Там, в этом счастливом мире, уже живет его любимый учитель географии (учитель пространства, не справившийся со своим предметом) Норвегов, который сумел вырваться из капкана исторического времени к обратимой, мерцающей смерти. Об этом мечтает и сам герой, выбравший для своей любимой (Вета Акатова) и себя (Нимфей: "белая речная лилия, названная римлянами Нимфея Альба") — ботанические имена.

Однако, тут-то и раскрывается трагическое противоречие книги. С одной стороны, героя бесконечно манит асоциальная, немая, неразмышляющая, мертвая и живая одновременно природа. Не зря его рай расположен на даче — в стране вечных каникул.

Но с другой стороны, герою Соколова никогда не удастся избавиться от своей постылой школы, потому что цена слияния с природой — его личность.

Вся книга — это напряженный и безнадежный поиск третьего пути — как, сохранив себя, свою неповторимую индивидуальность, победить время, пространство, смерть? Как достичь бессмертия капли, цветка, "зимней бабочки", не впад в прекрасное, но безличное беспомыслие природы? Как, погрузившись в Реку, не утонуть в ней — в Реке, которая, конечно же, называется Лета?

4.

Своей книгой "Школа для дураков" Соколов открывает особую страницу в нашей прозе.

Впрочем, вернее будет сказать, что он возвращает ее на путь, уже проложенный для российской словесности Набоковым, но которым пренебрегли его современники, да и наследники.

Набоков разошелся с русской классической традицией в том же месте, где и Соколов. Поворотным пунктом стала подробность.

Писатели нашего Золотого века заслужили славу прежде всего универсальностью своего гения. Они, чувствуя себя первооткрывателями, творили на пустом месте, как будто ничего до них раньше не было. Каждая мысль казалась самой важной, последней, на все времена.

Именно на эту самонадеянность русских мальчиков из "Братьев Карамазовых" и ополчился в свое время Набоков. Сконцентрированное изображение вот такой "варварской" концепции можно найти в знаменитой четвертой главе "Дара", посвященной Чернышевскому.

В Чернышевском Набоков жестоко высмеял универсальность мышления. Он не принимал попытку свести мир к единому знаменателю, стремление открыть вечный и всеобщий закон бытия. (На деле эти попытки обращаются в комические нелепости, вроде поисков вечного двигателя, которыми увлекался молодой Чернышевский.)

Набоков пишет о своем герое: "Он не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета: подробности бытия для него лишь аристократическим элементом в государстве общих понятий".

Вот эта упрощенная, обобщенная вселенная, мир без подробностей, в котором живет человек вообще, человек как представитель вида, характерен для русской литературе в целом. Таким "вселенским" взглядом обладали многие авторы не только прошлого, но и нашего века — от Платонова до, скажем, Маканина. Однако для Набокова такой "вид сверху" в принципе неприемлем.

В том же "Даре" он писал: "Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно-новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало".

У самого Набокова этот "ход коня", этот "сдвиг" определяется личностью, ее неповторимостью, единичностью. Поэтому источник творчества он видел в памяти, в Мнемозине, которую греки считали матерью муз.

Вместо мира без подробностей Набоков воспевал мир, состоящий из одних подробностей, причем таких, которые из

вестны только автору, которые родились в тайных уголках его памяти. Бесконечное нанизывание деталей, нюансов, воспоминаний каждый раз демонстрируют уникальность авторского "я", каждый раз доказывают, что нет мира вообще и нет человека вообще, а есть он — автор, щедро делящийся с читателями наблюдениями своего беспредельно острого глаза.

В этом сказывается особая эгоцентричность набоковского стиля. В своих романах он тщательно конструирует художественный мир, в котором состоится торжественный парад авторского "я".

"Школа для дураков" была, пожалуй, первой русской книгой, воскресившей набоковское понимание литературы. (Недаром она удостоилась редчайшей похвалы мэтра.)

Содержание романа Соколова вполне традиционно. Он описал инициацию своего героя, приобщение его к миру взрослых, мучительный процесс открытия главных основ жизни — любви и смерти.

Каждый новый виток культурной спирали начинается с таких книг: взросление героя — обычная метафора для истории общества.

Но Соколову удалось ввести в литературу новые качества, вырвав словесность из плена универсальных законов. Именно поэтому герой "Школы для дураков" — новый персонаж русской культуры.

Как всегда, в такой ситуации оказывается герой-подросток. Целая компания их — от подростка Достоевского до героев Сэлинджера или Аксенова — бродит по мировой культуре. Это и понятно: переходный возраст — естественная аналогия для межвременья, которое связано с общим ощущением неукорененности.

Подросток, существо незавершенное, еще незапертое в традиционных формах бытия, неизбежно вступает в противоречие с внешним миром. Однако, бунт соколовского героя, стандартный мотив романа "взросления", разворачивается в специфических для нашей эпохи формах.

Сама "школа для дураков" у Соколова — символ общего, универсального, застывшего в законченных образах мира. Против такой школы и восстает его герой. Он бунтует против самой истории, которая тащит его не туда, куда ему надо, а туда, куда надо всем.

Вся сложная игра Соколова со временем в конечном счете нужна ему для того, чтобы укрыть своего героя от хищной истории, которую он пытается заменить своей личной хронологией. Поэтому доминирующей в романе темой стало бегство из истории в субъективное время.

Отсюда же, из страха перед безличным ходом истории, и попытки выставить преграду притязаниям общества — память.

Память дает возможность свести течение жизни к одновременности, то есть уничтожить зависимость от социальных процессов с их причинно-следственными связями, избавиться от унижительного статуса "жертвы истории" (Бродский). Перевести эпицентр повествования в предельно индивидуализированное пространство памяти — значит отделаться от общего, избавиться от гнета обобщения.

Герой Соколова — максимально изолированная личность. Он замкнут в темнице личного "я", бегство из которой возможно только в слиянии — не с обществом, а с природой. Конфликт в "Школе для дураков" — экологического характера: это противоречие между органическим и механическим миром. Трагедия тут в том, что ни в одном, ни в другом мире для героя места нет. Он обречен на раздвоение существования. Ему остается только последняя свобода — свобода осознать безвыходность своего положения.

Подростку Соколова нечего делать в мире взрослых. Он никогда не повзрослеет. И в этом можно найти типологическую черту нынешней постмодернистской культуры, одним из первооткрывателей которой для русской литературы стал Саша Соколов.

1990



Л. Воронина

ВРЕМЯ, ОБРЕТЕННОЕ В УТРАТАХ

(время как литературный персонаж в современной классике)

В современной философии время является событием такой универсальной непонятности, каким была природа в философии древнегреческой. Многие древнегреческие трактаты так и называются — "О природе", и почти все существенные философские произведения XX века (или написанные раньше, но по духу относящиеся к XX веку, как например, произведения Киркегора), если не полностью посвящены времени, то своими проблемами как бы упираются в него. Для сознания современного человека, самого обычного читателя, *очевидно, что само слово "время" подразумевает проблему*, и то, что этим словом обозначается, автоматически воспринимается с вопросительным знаком. Т.е. нет надобности в предварительной специальной интеллектуальной работе по задаванию проблемы времени. Иными словами, ситуация противоположна той, которая застала Святого Августина, когда он писал свою "Исповедь": "...время... ясно... до тех пор, пока кто-нибудь не спросит, что такое время..."; пока кто-нибудь специально не поинтересуется, не полюбопытствует, *время в очевидности своей не несет в себе ни тени проблемы*.

Самым наглядным свидетельством проблематичности времени является современная литература. Томас Манн, Джеймс Джойс, Уильям Фолкнер, Марсель Пруст, Владимир Набоков,

Хулио Кортасар, Габриэль Маркес — все они так или иначе были заинтригованы проблемой времени и заколдованы его тайной. Но сразу же оговоримся, ни в коем случае нельзя думать, что все эти писатели просто говорят по-разному об одном и том же времени. Как раз наоборот — у всех у них само время разное! И оно разное не потому, что они по-разному его видят — мол, художники, образный глаз, преобразующий... Оно разное по сути дела, в существе своем. Таланты, опыты жизни и образное видение здесь ни при чем.

Понять это, однако, можно, только имея в руках более мощную, более всеохватывающую философскую концепцию, которая и была разработана Гуссерлем и которая, на мой взгляд, действительно проясняет многое "непонятное", зафиксированное литературой в природе времени.

Томас Манн был первым писателем, который всерьез занялся проблемой времени — и не только как писатель, но как философ (что, впрочем, не всегда имеет смысл, как в случае Т. Манна, так и в других случаях). Его интеллектуальной заслугой явилось то, что он предсказал неминуемую гибель двух фундаментальных мировоззренческих представлений культуры XIX века, представлений, на которых основано наше понимание времени. А именно: представления о необходимости и универсальности последовательного развития и представления о прогрессе. В романе "Будденброки" показана не только смерть одного поколения, т.е. разрушение системы ценностей "отцов" и зарождение новой системы ценностей "детей". Томас Манн почувствовал и изобразил то, как люди медленно, но верно начали утрачивать смысл идеи развития как таковой. Иными словами, представление об эволюционной непрерывности (преемственности) между миром "отцов" и миром "детей" и все связанные с этим представлением понятия: последовательности, континуальности, причинной связи между историческими состояниями — ушло из поля сознания нового поколения. Психологически люди перестали ощущать настоящий день как следующий за прошлым днем. Герои Томаса Манна живут в "бесконечном настоящем" вне всякой связи с прошлым.

Но классически, по-кантовски, время воспринималось как глубинный механизм упорядочивания, даже скорее создания мира человеком из хаоса сначала космического, а потом культурного и семейного. Время лежит в основе самосознания и самоопределения человека, оно дает возможность "определить" свое место, отделить себя от "всего остального". Однако, если человек выбит из привычного поступательного "хода вещей", утратил смысл времени и, тем не менее, хочет определить себя через свое место в "цепи событий", в последовательности, в отношении того, что уже свершилось, человеку необходимо восстановить заново смысл временного порядка.

И на самом деле так и случилось. Вся серьезная литература, следующая за "Будденброками", занималась "поисками времени" и блужданиями по культурам и истории. Писатели и, следовательно, их герои задумались над реальностью времени несвойственным им образом, т.е. рефлексивно, называя — но не показывая — факты проявления "живого времени". На страницах романов происходили открытые диспуты, сталкивались различные философские точки зрения. Литературе грозило перестать быть художественной: уточнение определения того или иного понятия вызывает отклик в уме философа, но отнюдь не сочувствие в сердце того же философа. "Волшебная гора" Томаса Манна представляет собой компендиум подобных диспутов. Причем сами философские идеи воплощены в жизненных ситуациях и действиях героев. Каждый герой иллюстрирует своей жизнью какую-нибудь философскую концепцию. Получилось, что не только человеческие характеры, но и разворачивание жизни в обстоятельства, и ощущение жизни зависело от того, какой тип времени: последовательное, моментальное или цикличное — доминировал в сознании. Более того, и сюжет, и психологические иллюзии, и художественные приемы были подчинены одной цели (последовательность, граничащая с тоталитарным подходом к реальности) — проиллюстрировать, т.е. разыграть в лицах свою излюбленную временную идею (частично заимствованную Томасом Манном у Ницше) — идею постоянно возвращающегося прошлого и обманчивой реальности настоящего. Новизна настоящего, согласно логике этой идеи, заключалась в том, чтобы еще раз воспроизвести прошлое, хотя и не в точности повторить его. Таким образом, прогресс, хоть и в небольшой доле, но все-таки существует. Он отодви-

нут на задний план, а передний план занят теми, кто ходит по кругу. Они возвращаются вновь и вновь к своей начальной точке. Каждый последующий шаг отличался лишь скоростью (быть может, в этом и состоит содержание прогресса), потому что каждый последующий круг становился короче и короче. Иными словами, событию, чтобы свершиться, нужно меньше времени. Чем ближе к концу, тем напряженнее становится повествование. И как раз это, с точки зрения Томаса Манна, составляет общее повышение рефлексивности как в самом событии, так и в его отражении в рассказе об этом событии. Все происходящее с людьми в этой книге напоминает проигрывание граммофонной пластинки. Что и на самом деле выступает как символ циклического времени — это явствует из последней главы. Если не особенно акцентировать откровенно мистические намеки в интерпретации "конца" пластинки (взрыв, молния... пиф-паф — наступает "конец времени") — писатель есть писатель, а потому должен отдавать должное "иррациональной" стороне времени, — то можно сказать, что концепция возобновляющегося прошлого вполне соответствует вкусам Томаса Манна.

Что еще раз подтверждено романом "Иосиф и его братья", где время принципиально "глядит назад". Настоящее здесь имеет смысл и обладает присутствием и силой лишь постольку, поскольку оно представляет собой орудие (леса, подпорки) для протаскивания в действительность неизменного прошлого. Это орудие может изменяться и даже совершенствоваться, но оно никак не может повлиять на то, что является, по существу, неизменным, т.е. архетипическое содержание истории.

Таким образом, творчество Томаса Манна это яркий пример мыслительного мира и жизненного пространства, в которых привычные временные различия между настоящим, прошлым и будущим исчезают. Человек толком не может ответить на вопрос "Когда это произошло?" — может быть, уместнее спросить "Когда это произойдет??" Случилось ли это в прошлом, что я, скажем, родился или это мероприятие довольно отдаленного будущего, когда оно "дорастет" до соответствующего прошлого. Опору Томас Манн нашел в прошлом, в основах, в столпах культуры — время только воспроизводит некоторый генотип. Не случайно его обращение к иудейской исторической реальности, которая, согласно закону этой реальности, т.е. тому, что наделяет ее статусом реальности, должна повто-

ряться вновь и вновь: в каждом поколении каждый еврей каждый год... должен чувствовать себя так, как если бы он сам вышел из Египта.

Гораздо более тонкое чувство времени и соответственно более деликатный анализ времени читатель найдет в творчестве Джойса. Поначалу может показаться, что та же самая идея, что и у Манна — идея исторической цикличности — задействована у Джойса. Это можно продемонстрировать даже текстуально. Джойс часто ссылается на Вико как на философа с достойными его внимания, а следовательно, достойными по существу идеями. Критики часто пишут на эту тему, часто не понимая, что у Вико идея цикличности историческая, а у Джойса — психологическая. Т.е. Вико считал, что вся история хронологически, последовательно может быть разделена на три цикла: век богов, век героев и век людей. В представлении же Джойса, фазы исторических циклов не последовательны, они не следуют друг за другом в хронологическом порядке. Именно потому, что они являются не стадиями поступательного исторического развития, но некоторыми психологическими состояниями и социальными ролями, которые человек может избирать абсолютно произвольно и переживать в одно и то же время. Культурно-исторические эпохи (эпические, мифические, мистические, лирические, позитивистские) как бы хранились в беспорядке на складе сознания или на счету у настоящей культуры без наклеек и дат и вытаскивались на свет божий или пускались в расход, в обиход, когда переходили в разряд самосознания или самоопределения (по-английски, это self-identity), когда разыгрывались как соответствующие моменту, дню, случаю. Можно было ощущать себя инквизитором утром, дублинцем в полдень и Джеймсом Бондом — по вечерам. Или по отношению к кому-то, или делая вот то-то...

Такая кажущаяся "раздробленность" сознания обеспечивала на самом деле его единство. Последнее выступало как реальность более высшего порядка, чем принадлежность к какому-либо культурному настоящему, прошлому или будущему. Означал ли такой подход к человеческой действительности девальвацию смысла истории? Как отличить прошлый день от настоящего, если у них нет никаких преимуществ друг перед другом: ни формальных — более отдаленное и менее отдаленное, ни содержательных — подходящее и неподходящее?

Заметим, что речь все время идет у Джойса о психологической реальности и реальности самосознания, которые не знают ни времени, ни морали, ни качества вообще. В одно и то же время человек может быть и отцом, и сыном, и в настоящем, и в прошлом, и учителем, и учеником, и извергом, и святым... Для выражения своего грустного настроения человек может обратиться к Торе и в сознании своем стать иудеем, а для выражения, скажем, счастья вообще потерять дар речи, дар внутренней речи, т.е. способность жить структурно и — "раскультивироваться" вдрызг. Человек может по-католически спастись иерархией, по-христиански отвергать ее и принимать ответственность "за все" лично на себя, как итальянский мафиози или Рука Алешковского. Однако все эти состояния или качества, принадлежащие к вневременной, точнее временной по-особому, ретроспективно (ведь мы отличаем одно состояние от другого, хотя не путем его пространственной отличности, внешних признаков — объект памяти не имеет ни цвета, ни запаха, — но путем расположения в цепочке "раньше-позже"... мы все-таки говорим "одно воспоминание вытесняет другое") реальности, не могут исчерпать возможностей человеческого сознания, благодаря которому они, кстати, и существуют. Но если остановиться на психологических состояниях и на культурных самоопределениях, которые принадлежат человеку, и не обратиться к сознанию, которое формирует (не в смысле порождает, идеализмом у Джойса и не пахнет, но в смысле конституирует, образует некоторые содержательности с объективной отнесенностью) эти состояния и их носителя заодно, то время буквально зацикливается. Что и случилось с Томасом Манном, может быть, из-за слишком серьезного отношения в культуре, я бы даже сказала, из-за раболепного отношения к культуре, в истоках своих гегелевского. У Джойса все наоборот. Казалось бы, если считать, что психологические состояния и культурные самоопределения принадлежат человеку, то он как бы господствует над ними. Но обратной стороной господства является рабство, без культуры человек никак не может, он зависим от нее. С другой стороны, у Джойса человек интересен не своей культурной зацикленностью, а своей способностью увильнуть от любого конечного культурного определения, избавиться от господства над своими психологическими состояниями и попасть в зависимость к сознанию — воистину не сознание принад-

лежит человеку, а он сознанию — которое и приносит смысл реальной свободы, разрывает временную цикличность и вообще избавляет человека от времени, от конечности. Здесь как раз человек ни от чего не зависит, потому что ни над чем не властен.

Вот почему по сравнению с Томасом Манном, джойсовское ощущение времени гораздо более неопределенное. Люди блуждают в своей настоящей жизни или в своем прошлом как туристы в музее. Они странники, посторонние, Улиссы и по отношению к самим себе в своем настоящем, в своем "здесь и теперь", и по отношению к своим корням, к культурной традиции, в которой они были воспитаны. Мы видели, каким образом Манн, чтобы определить настоящее, назвать его существенные характеристики, смело, без колебания обращается к прошлому, идет по следу настоящего до тех пор, пока оно само себя не разоблачит и не покажет свое истинное лицо, т.е. не представит прошлым. Томас Манн, по сути дела, не сомневался в том, что настоящее связано с прошлым (по крайней мере, это верно для его самой последней концепции времени). Не могло быть настоящего без прошлого. Для Джойса все эти соображения не имеют абсолютно никакого смысла. Не так уж легко, с его точки зрения, найти соответствующее прошлое для настоящего, прошлое, которое бы "подходило" к настоящему, которое бы было связано с ним. В настоящей своей жизни люди исполняют много разных ролей, которые накладываются друг на друга, пересекаются и часто так перепутаны, что их нельзя друг от друга отделить. Более того, у Джойса все те эмоции и рефлексии заключают в себе переживание и созерцание прошлого, имеют место одновременно с тем, что происходит в настоящем. Переживание события как случающегося в настоящем или переживание события как случающегося в прошлом — это явления одного и того же порядка, если они принадлежат к психологическим событиям или событиям сознания.

Но с другой стороны, настоящее как таковое в произведениях Джойса это более "сильная" реальность, чем в произведениях Томаса Манна. Джойсовское настоящее не так просто складывает оружие и уступает свое место под солнцем, свой статус реальности прошлому. Настоящее у Джойса не таким прямым и безоговорочным образом обусловлено прошлым, его так просто не раскусить, оно не так ясно, у него есть как бы своя свобода воли. Его связь с прошлым в высшей степени

проблематична. И самый существенный элемент настоящего это далеко не тот, который ответствен за перенесение прошлого в настоящее. Ни преемственности, ни последовательности вообще нет в джойсовской концепции времени.

Таким образом, если у Манна настоящее значимо своим архетипичным содержанием, т.е. неизменным прошлым, а прошлое необходимо включено в настоящее в качестве его источника и основания, то у Джойса прошлое и настоящее выступают как независимые и равно значимые элементы того, что происходит в настоящем, того, что человек переживает в настоящем. Связь между ними не генетическая — настоящее не вырастает из прошлого. Скорее оно случайно и ситуативно. Связь между настоящим и прошлым подобна той, которую можно увидеть между цветовыми пятнами, разбросанными контурами и объемами на коллаже — случилось так, что они рядом. Однако тот, кто способен увидеть отношения между этими пятнами: параллели, повторения, контрасты, оттенки и т.п. — в своем сознании находится вне самой картины. Он может наблюдать, сравнивать, примерять друг к другу значения прошлого и настоящего, будучи нигде, вне всякого места и времени, не идентифицируя себя со своими психологическими состояниями, не ассоциируя себя непосредственно с переживаниями прошлого и настоящего. Возникает вопрос: неужели сознание, которое описывает события в терминах времени — неважно, — как прошлое, настоящее или будущее — неужели само это сознание находится вне времени?

Этот вопрос отсылает нас к проблеме, которая глубоко интересовала Уильяма Фолкнера. А именно: что такое безвременность сознания, которая является условием того, что сознание функционирует как временно-дифференцирующее. В романе "Шум и ярость" идиот Бенджамин абсолютно не имеет никакого представления о разнице между вчера и завтра. Он может описать прошлое так живо, как если бы речь шла о настоящем, как если бы оно (прошлое) не "уходило в прошлое", не исчезало. Он может сделать будущее настолько реальным, что кажется — оно уже настало. Но он способен проделывать такие штуки не потому, что у него феноменальная память и потрясающе богатое воображение. Как раз наоборот: он начисто лишен как памяти, так и воображения. Нет ничего, что он вспоминал бы, потому что нет ничего, что он забывал бы. Ему не

нужно запоминать или вспоминать, потому что он не умеет забывать. И не нужно ничего воображать, потому что в его сознании нет разницы между восприятием и мечтанием. И именно такое *идиотическое** сознание может сохранить историю целой семьи. Бенджамин, который не осознаёт времени, является действительным рассказчиком в романе.

Другой герой, Квентин, который, в противоположность Бенджамину, прямо-таки одержим идеей времени и постоянно размышляет о его природе, замечает, что только тогда, когда часы останавливаются, время начинает по-настоящему жить. Иными словами, для того, чтобы вернуть то, что было "проглочено временем" и восстановить то, что было утрачено на пути к полному забвению, т.е. для того, чтобы вспомнить, чем было заполнено время, Квентин пытается отделаться от времени. Но ведь такая попытка неминуемо приводит к состоянию ума-лишенности, в котором пребывает Бенджамин, т.е. к элиминированию разницы между временными дифференциациями, к столбняковому настоящему, к только-настоящему без теней и нюансов. И опять мы возвращаемся к тому же самому вопросу, который возник при рассмотрении джойсовской концепции времени: правда ли, что для того, чтобы сохранить представление о *ходе* истории, значение последовательности событий и смысл события как такового и вместе с ними смысл времени, необходимо устранить само время, т.е. различенность между прошлым, настоящим и будущим?

Несколько иной тип живого времени читатель найдет в произведениях Марселя Пруста и Владимира Набокова. Очень многие литературные критики трактуют прустовское и набоковское понимание времени на психологический манер, точнее, на исключительно психологический манер. По их мнению, описать такое понимание времени можно лучше всего в бергсоновских категориях, т.е. в категориях чистой длительности и интуитивного постижения моментов времени. В некотором смысле это может быть и верно, т.е. при определенной трактовке самой бергсоновской концепции. Но здесь происходит то же самое, что и в отношении Джойса и Вико: притянутая — вроде бы

* Уместно напомнить смысл слова "идиот". По-гречески это значит человек, имеющий свой собственный настолько уникальный внутренний мир, что его никто больше из людей разделить не в состоянии.

ближайшая — философия никак не помогает уразуметь уникальность Пруста и Набокова в описании временного опыта человека, который включает и способность человека упорядочивать события с помощью времени, и его способность ощущать реальность самого времени, и его способность концептуализировать и то и другое.

Дело в том, что ни Пруст, ни Набоков не психологизируют реальность и не субъективизируют объективно происходящие события. Их революционность состояла в том, что они описывали психологические состояния как независимые объекты, расположенные во внутреннем времени, которое тоже, хотя и внутренне, но вполне действительно, объективно в своем роде. А значит, было бы ошибкой утверждать, что они допускают некоторое объективное развитие событий в жизни человека, с одной стороны, и с другой — его преломление в зеркале человеческого сознания. И конечно же нет ни тени так называемого творения внешнего мира посредством человеческого сознания. Наконец, по их произведениям не видно, что они посчитали бы конкретные психологические состояния за некоторую сущность или субстанцию, которая бы генерировала сама свои собственные проявления. Как раз наоборот, их главная задача состояла в том, чтобы описать реальные события, содержание и смысл которых необходимо включает присутствие человеческой субъективности.

Последнее и превращает событие в "идеальное", "фантастическое", "мыслимое". Так называемый поток сознания — это не мечтания, воспоминания, фантазии — все вместе. Поток сознания это категория, с помощью которой можно понять, каким образом *существуют* вещи, которые не мыслимы без включения в их структуру субъективности и каким образом они даны сознанию. Т.е. речь идет об онтологии некоторых, очень специфических явлений, а именно: смыслов.

Далее, справедливо, что все психологические состояния и рефлексивные операции, которые случаются внутри потока сознания, происходят в настоящем. Но моделируют настоящее Пруст и Набоков по-другому, чем Джойс и Фолкнер. У них нет "странствующего" сознания или тонущей, исчезающей личностной идентификации, которые вызывают не просто смещение между временными планами, но порождают ситуацию, когда время отрицает самое себя. Настоящее Пруста и Набокова в

высшей степени определено. К тому же у них отсутствует "сохраняющее сознание", которое автоматически, равнодушно удерживает в бытии все, что случается, как это у фолкнеровского Бенджамина. Значения прошлого и будущего тоже четко отличаются от настоящего, опять же в противоположность Джойсу и Фолкнеру.

Пруст и Набоков как бы вновь отвоевали время, которое включает индивидуальное, активное, избирательное сознание, в котором лидирует смысл настоящего, а прошлое и будущее никак не могут быть сведены к настоящему. Означает ли игнорирование а-персонального, а-культурного вневременного сознания возврат к тому, от чего ушли Джойс и Фолкнер, возврат к элементарной психологизации времени, чистой длительности бергсоновского типа? Ни в коем случае! Хотя все психологические акты разворачиваются в длящемся настоящем и структурированы как чистая длительность, континуум, *содержания психологических аспектов описывается во временных категориях* настоящего, прошлого и будущего и *структурированы дисконтинуально*. Приведем простой пример (он еще интересен и тем, что показывает, как философские дистинкции — то, что я сейчас попыталась сделать — совершает сама литература). Свою автобиографию, написанную по-английски, Набоков назвал "Speak, Memoгу" ("Память, говори!", в дословном переводе). Но русский вариант той же книжки — это "Другие берега". Любопытно, как уже в самом названии, т.е. в самом факте, что названия на разных языках разные и усиливают соответственно субъективный, психологический — памятный и объективный, событийный — земной профиль одного и того же явления — жизни Набокова, отражается сложность самого феномена времени, его многоаспектность.

Разумеется, писатели, произведения и герои, которых мы тут обсуждали, не представляют какую-либо историческую или логическую последовательность в развитии культурного образования под именем "время как проблема". Скорее это иллюстрация того, насколько могут быть различны описания времени и к каким странным и противоречивым выводам можно прийти, если выделять одну или другую сторону в человеческом опыте переживания и концептуализации времени.

Время недвижно замерло — Томас Манн, "Иосиф и его братья".

Время изменяется каждое мгновение — Пруст, "В поисках утраченного времени".

Прошлое безвозвратно ушло — Пруст.

Нет никаких сил вытолкнуть прошлое из настоящего — Набоков, "Ада".

Настоящее моментально — Томас Манн, "Волшебная гора".

Настоящее это всеохватывающее присутствие всего и каждого — Фолкнер, "Шум и ярость".

Для того, чтобы постичь время в его заполненности, необходимо избавиться от личного Я — Фолкнер.

Начало рефлексивного сознания должно совпадать с зарождением чувства времени — Набоков, "Другие берега".

Настоящее неопределенно, оно нигде — Джойс, "Улисс".

Настоящее везде — Пруст.

А в литературе последних 20-30 лет "проблема времени" еще более обострилась, точнее — обнажилась. Кортасар, в надежде увидеть реальное время воочию, субстантивирует и персонализирует. Герой его рассказа "Саксофонист" может "ощущать" время, воспринимать его, разговаривать с ним, как со своим другом. Этот "друг" обладает своим характером и наделен волей. Он (она, оно?) поступает из будущего в прошлое с разной скоростью, разбухая и сужаясь, теряя и обретая содержание, но удерживая свои позиции даже будучи ничем не закреплено, никаким содержанием.

Наконец, в творчестве Габриэля Маркеса литература как бы складывает оружие и оставляет свои попытки понять время. По-видимому, не имеет смысла вообще описывать жизнь людей в терминах времени, если оно ничего не упорядочивает, а только смешивает. И действительно, Маркес попытался проделать, мне хочется думать, эксперимент, в романе "Сто лет одиночества", который имел целью установить, что же все-таки случится с человеческой жизнью, если время не принимать во внимание. Роман демонстрирует весьма пессимистическую картину: жизнь, продвигаясь, не двигается, или точнее, поскольку продвигается, постольку не двигается, потому что остановилось время. (У Фолкнера другое, время в сознании Бенджамина не остановилось, его там вообще нет (Каждое новое поколение не повторяет, но воспроизводит в точности образец жизни предыдущего поколения. Все наскучило, все изну-

рены. Привычка (инерция, инстинкт?) заставляет людей существовать более-менее по-человечески: получать образование, строить дома, обзаводиться семьями. Такая жизнь *вроде* напоминает человеческую, но по сути дела она не человеческая, ведь смысла в ней нет. Очевидно, времени никак не избежать, иначе нет ни содержания, ни смысла, ни тем более никакого рассказа о бессодержательном и бессмысленном.

Теперь я позволю себе небольшое отступление более общего порядка, которое, на мой взгляд, необходимо, чтобы понять значение и в то же время ограниченность литературы в размышлении о времени, а также роль философии в прояснении его "мистических" свойств.

Опыт литературы в описании реальности, равно как и ирреальности времени показателен по разным причинам. Во-первых, как я уже сказала в начале статьи, это очень точная и ясная картина того, что неясно. Во времени заприходовано наличие проблемы. Во-вторых, литература намекает на обстоятельства, предшествующие возникновению этой неясности. Т.е., что время вещь загадочная не просто сама по себе, оно таковым становится, обрастает парадоксами, как защитным панцирем, при малейшем рефлексивном прикосновении. В-третьих, литература демонстрирует, что загадочность времени не создана досужим академическим любопытством, непонятность времени расплзлась по жизни. От людей жизнеощущение ускользает и мироутверждение затихает. Пытаясь совершенно естественным образом, почти инстинктивно, избавиться от того, что раздражает своей бессмысленной непонятностью, люди совершают рефлексивный шаг; они закрепляют существование самой проблемы путем расстановки вопросительных знаков (правда, часто невпопад... галоши в холодильник). И как раз-то вот эта вопросительность времени уже на уровне жизни является условием ее философской формулировки. На философском языке, как я уже сказала ранее, такая ситуация будет называться *очевидностью проблематичности*, увидеть которую можно лишь при первом рефлексивном приближении к реальности, т.е. отдалении от нее в искусстве. Что может писатель в отношении проблем, так это демонстрировать их, но не

рассуждать о них и аргументировать (особенно выпукло это в классических писателях, каковыми являются русские писатели, — Толстой, Достоевский, даже Солженицын, — азбучная истина: писатели они гениальные, а мыслители никудышные). И писатель не может толком рассуждать не потому, что не умеет, а потому, что это не его дело. Это не его слабость, но сила, уникальность. В его уме работает совершенно определенная рефлексия, которая, в сущности, по природе своей, не выходит за пределы непосредственного жизненного переживания.

Однако, это совсем не значит, что писатель поработчен своим талантом. Он в состоянии не только живописать, но и судить о том, что изобразил. Но тогда тип его рефлексии меняется, он смотрит на факты жизни не изнутри, а со стороны. Если писатель занимается этим систематически, то литературе грозит потерять подлинность и превратиться просто в *иллюстрацию идей* (очевидный пример — писатели-экзистенциалисты). Хотя различными воззрениями (взглядом на факты жизни со стороны) занимаются литературные критики, по преимуществу. Именно критики любят рассуждать о "взглядах" писателей, "философских основаниях", "системах идей". Это они проводят параллели между писателями и философами: Манном и Ницше, Прустом и Бергсоном, Джойсом и Вико. Что принципиально здесь — так это понимание, что критик оперирует "взглядами", "идеями", "смыслами", "принципами" как независимыми сущностями, готовыми культурными объектами. Иными словами, если писатели в своем творчестве не выходят за границы непосредственных жизненных проявлений, то *критики в своем теоретизировании не выходят за границы культуры*. Идеи ими фетишизируются, говорится о традициях, заимствованиях, развитии идей как о *духовных фактах*. Мышление критиков движется в культуре как по городу, соблюдая все правила уличного культурного движения. Такое мышление принимает культуру как заранее данное. Это не забота критиков — проанализировать, в каком контексте и при каких обстоятельствах идеи имеют смысл, что такое смысл вообще и когда можно говорить об истинных и неистинных идеях.

Последнее требует следующей стадии рефлексии — а-культурного мышления. А это и есть философия. Однако не следует считать, что философия анализирует результаты литературы и

критики. Философия функционирует совершенно независимо, а иногда и враждебно по отношению к литературе и критике. Тем не менее, занимая в своем мышлении внешнюю позицию по отношению к культуре и жизни вплоть до того, что сама литература и критика могут стать простыми объектами философской рефлексии, все-таки философ имеет дело с теми же фактами непосредственных жизненных переживаний, что и писатель и, в меньшей степени, критик. Все дело только в том, каким образом взглянуть. Если литература, как было описано выше, представляет жизнь "как она есть", *демонстрирует факты жизни*, литературная критика представляет жизнь так, как она дана во мнениях и взглядах, *указывает и сообщает* те же факты через демонстрацию жизни идей в культуре, то философия представляет факты жизни *судя о них*, раскрывая то, без чего они не могут существовать как факты, т.е. понимая их со стороны их необходимости. На философском языке эти три способа видеть вещи называются тремя видами рефлексии: эмпирически-психологической, культурной и эйдетической (от слова эйдос — то, что является необходимым в явлении или предмете, то, без чего они не могут существовать, впервые введено Платоном).

В первом случае факты жизни заданы как индивидуальные психологические состояния, часто реакции психики на внешний мир (естественный, сверхъестественный или культурный). И психологические состояния, и внешний мир принимаются как само собой разумеющиеся реальности. Во втором случае начинается их рефлексивное разрушение. Психологические состояния начинают очищаться от эмпирии и рассматриваться как некоторым образом культивированные состояния сознания, т.е. идеи. В третьем случае философская рефлексия отбирает у культуры статус последней инстанции в описании жизни человека. Идеи перестают быть идеальными фетишами, рас-культурируются и предстают как *смыслы* или *эйдосы*.

А теперь после этого небольшого отступления вернемся к нашей проблеме, проблеме времен, и посмотрим, как на нее можно взглянуть с философской точки зрения.

Главный вопрос, на который хочет ответить Гуссерль, это

каким образом объективность времени, с которой мы все хорошо знакомы, может быть задана как смысл в субъективном переживании времени. Сразу оговоримся, это не психология. Подход Гуссерля кардинально отличается от подхода Бергсона, который постулировал существование объективного времени и изучал субъективные условия его восприятия и осознания. С точки зрения Гуссерля, истинная философия не терпит никаких допущений и постулатов, она должна заниматься непосредственным опытом сознания, в котором присутствуют некоторые данности. Таким образом, первое, что Гуссерль делает — это исключает вообще объективное время. И делает это он потому, что хочет понять, что такое объективное время. Иными словами, Гуссерль хочет проанализировать внутреннее субъективное переживание, в котором время является в объективном смысле. Внутреннее переживание это источник всех временных представлений вообще, потому что именно здесь рождаются две фундаментальные для смысла времени идеи — идея длительности и идея последовательности, следования друг за другом прошлого, настоящего и будущего. Но длительность и последовательность, будучи внутренними объектами сознания, смыслами, тоже формируются, они не последняя инстанция анализа, как в психологии. А потому после совершения первого рефлексивного шага — от постулирования объективного времени к тому, как оно дано сознанию — который позволяет провести различие между объектом сознания (настоящим, прошедшим, будущим) и актом сознания (восприятия, память, ожидания), Гуссерль совершает второй рефлексивный шаг — от постулирования актов сознания к тому, как они даны сознанию. Иными словами, Гуссерль внутри самих психических состояний, в пределах имманентной сферы, выделяет объективные и актовые структуры.

И только теперь, после двух рефлексивных шагов, Гуссерль считает, что можно заняться анализом того, как формируется ощущение длительности и последовательности, лежащее в основе смысла временных дифференциаций. Конкретный анализ Гуссерль проводит на примере восприятия музыкального звука — классической последовательности. Очевиден тезис, что ощущение последовательности не возникает из факта последовательности ощущений. Чтобы мелодия воспринималась как гармоническое целое, а не как набор момен-

тальных, не связанных друг с другом звуков, необходимо, чтобы восприятие только что прозвучавшего звука не уходило из сознания полностью, но сохранялось некоторым образом, так, чтобы следующий звук воспринимался с отсылкой к нему. Таким образом, *ушедшее и присутствующее в актуальном восприятии поставлены в некоторое отношение*. И только в этом отношении и воспринимаются. Аналогичным образом происходит образование смысла непосредственно следующего за настоящим будущего. Собственно, вот этого "следующего за" и нет. Настоящее несет в себе отпечаток ожидания. Иными словами, *настоящее, чтобы быть настоящим, чтобы быть присутствующим, свершающимся настоящим, должно быть оттенено двумя отсутствиями*, данными как присутствие в актуальном восприятии. Это и есть смысловая клеточка времени, его ген. Так же, как не существует левого без правого, так и не существует настоящего без прошлого и будущего. И эта целостность воспроизводится и в актуальном восприятии, и в памяти, и в фантазии, потому что каждый из этих психических процессов представляет собой независимый опыт, который длится. Попросту говоря, у восприятия свои настоящее-прошлое-будущее, у памяти — свои, у фантазии — свои. Нельзя сказать, например, что память — это целиком и полностью прошлое. Сам акт памяти происходит в настоящем.

Но каков статус этого удерживающего сознания? Протекает ли оно тоже во времени? И тут Гуссерль совершает третий рефлексивный шаг — от имманентной, психической сферы к абсолютно внутренней сфере сознания, в которой формируются его актовые структуры. Внутреннее сознание это "чистое сознание", в котором и на стороне объекта, и на стороне акта — процесс, активность. Здесь ничего не "уходит" из сознания, из настоящего в прошлое. Не образуется никаких "затмений" или "отложений". Сознание воспроизводит себя, т.е. чистую пустую форму активности, вечно длящееся пребывание, и вечно пребывающую длительность. Это живая "настоящность", поток, которому нужно постоянно меняться, чтобы быть тем же самым, чтобы быть настоящим, нужно быть уже в прошлом и т.п. Повидимому, временных характеристик у потока сознания нет, т.е. еще нет, но он наделен способностью дифференцировать в себе определенные состояния. И эта дифференцированность потом "обрастет" временными характеристиками, а еще позже пространственными.

Смысл объективного времени возникает очень поздно в жизни сознания в результате нескольких отождествлений. А именно: любая временная точка, которая отходит в прошлое в актуальном восприятии, может быть повторена в воспоминании, а следовательно, может быть идентифицирована или подтверждена в своей индивидуальности. Память может представить и повторить таким образом любую временную точку много раз, т.е. в процессе бесконечного ее повторения она и формируется как идентичная. Интервал времени в точности так же может быть повторен памятью и идентифицирован ею. Следующий этап — расположение временных объективных точек в линейной последовательности — проекция предметности на уровень сознания. Иными словами, если мы ходим думать о вещах как об объективных, т.е. которые остаются тем же самым в многообразии опыта, в котором они даны сознанию, мы должны поместить объект во время, т.е. рассматривать его как временно изменяющийся. Но время любого временного объекта это реальное время, повторяющее структуру предмета, следующее за его состояниями.

Таким образом, можно сказать, что в описании времени, которое предлагает Гуссерль, имеется 4 уровня, равнозначимые для образования смысла времени:

I — объективное линейное время, которое исключается Гуссерлем вначале.

II — объективное осмысленное время — настоящее, прошлое, будущее.

III — Имманентное время психических состояний — память, фантазия, ожидание.

IV — а-временность потока сознания.

Смысл временных дифференциаций — настоящего, прошедшего и будущего — предполагает участие II, III, IV уровней; I уровень, как я уже сказала, является проекцией законов предметного мира на мир сознания. Необходимо подчеркнуть, что *смысловое обоснование времени начинается с уровня IV*. Т.е. чтобы было возможно существование объективных настоящего-прошедшего-будущего, т.е. чтобы осуществлялся "ход времени", нужно психологическое имманентное время; а чтобы было возможно психологическое время, *нужно отсутствие*

времени (не просто "время не нужно", а "нужно отсутствие времени").

А теперь результаты, полученные при рассмотрении позиции Гуссерля в отношении образования смысла времени, можно применить для прояснения ситуации, представленной современной литературной классикой. Коротко — исчезает противоречивость и, если хотите, таинственность реальности времени. Ведь они вызваны элементарным смешением четырех уровней, работающих в сознании при формировании смысла времени. Временные понятия, уместные на одном уровне, не имеют никакого смысла на другом. Более того, становится понятной не только эта кажущаяся противоречивость, но и то, что сами по себе, не будучи сравнены друг с другом, описания времени, данные разными писателями, точнее, описания опытов времени в разных литературных произведениях, абсолютно непротиворечивы, напротив, представляют собой образцы логичности и последовательности.

"Остановившееся время" Томаса Манна справедливо только на уровне IV, т.е. на уровне внутреннего времени, где его бытие не отделимо от бытия сознания. "Время, изменяющееся постоянно", защитником которого выступает Пруст, работает на уровне II, уровне имманентного или психического времени, где впечатления, получаемые от объектов, постоянно изменяются. А другое замечание Пруста о том, что прошлое "ушло и никогда не вернется", верно, если мы говорим о субъективной, "актовой" стороне событий как внешней, так и внутренней, психической жизни. Но, если мы говорим об объективной, предметной стороне тех же событий, тогда, как думал Набоков, "совершенно невозможно вытолкнуть прошлое из настоящего".

Или противоречие между утверждением Фолкнера, что только "пустая личностная идентификация" (т.е. когда у человека нет ощущения собственного "я") является необходимым условием возможности передачи времени, наполненного событиями, и точкой зрения Набокова, который считал, что существует прямая связь между рефлексивным сознанием и личностной идентификацией и смыслом времени, это противоречие окажется всего лишь видимым. Ибо справедливо, что процесс

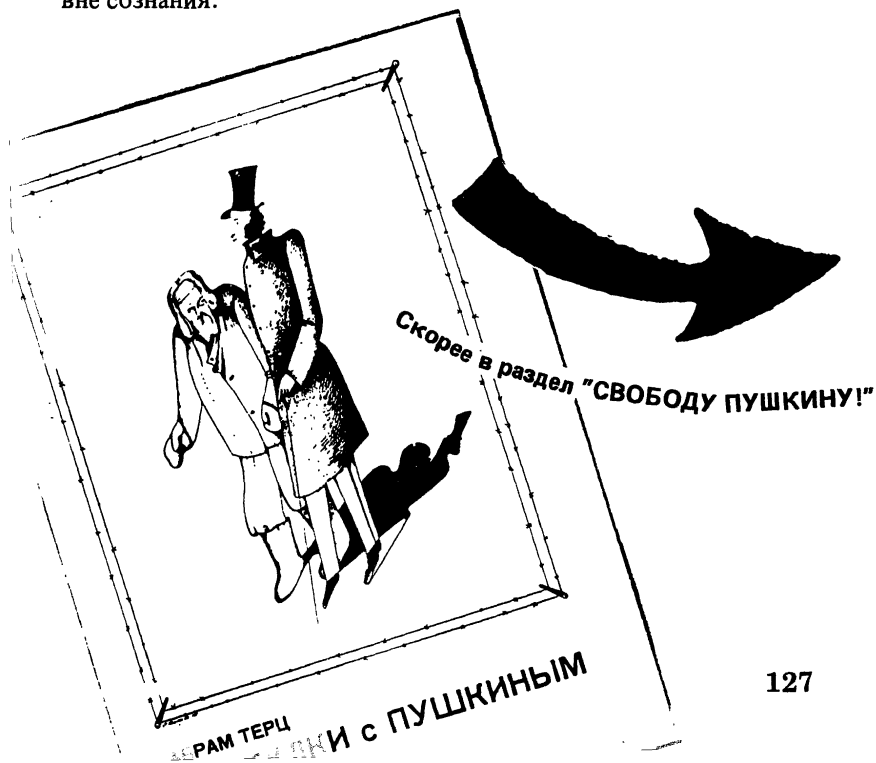
вычленения мира из массы всего и, на другом полюсе, субъекта этого мира — это нечто единое. Мир и человек предполагают друг друга. Но, во-первых, очень часто присутствие "я" в мире и мира в "я" не выражено — оно существует как бы на полях, скрыто и выявляется только в анализе. Во-вторых, сами понятия "мир" и "человек" принадлежат скорее к тем, в терминах которых описываются психологические состояния. На уровне чистого сознания и "я", и мир отсутствуют. А в образовании смысла факта или происшествия оба уровня играют роль. Так что и фолкнеровское, и набоксовское "я", оба нужны в человеческой жизни.

Более того, анализ Гуссерля показывает, что настоящее может иметь различные смыслы в зависимости от того, на каком уровне времени оно находится. Оно может быть "простой сущностью", элементарным моментом времени, далее не разложимым — в сфере объективного времени, времени объектов. Оно может иметь тройственную структуру "непосредственное запоминание — актуальное впечатление — непосредственное ожидание", когда работает удерживающее сознание при образовании смысла временных дифференциаций в сфере имманентной, психологической. Наконец, оно может быть не-сущностью вообще на уровне внутреннего сознания, где имеет быть "место" "всеохватывающая данность — всего" (Фолкнер).

Опять же вопрос "местоположения" настоящего, вызывающий серьезные разногласия, может получить какое-то решение в свете гуссерлевской концепции. Джойс был уверен, что настоящее *находится нигде* (это совсем не то, что сказать нигде не находится), Пруст доказывал, что настоящее *везде*. Ключ — в определении уровня, на котором функционирует настоящее. Джойсовское "неопределенное", шаткое настоящее и прустовское разлитое, растянутое по всей жизни настоящее охватывает и имманентный психологический и внутренний уровни сознания. Причем джойсовское ощущение настоящего явно тяготеет к внутреннему уровню сознания. Джойс подчеркивает значение наполненности (не важно что, важно, что что-то было (и в то же время неважность качества того, что заполняло время (может быть то, а может быть это в равной степени)). Тогда как прустовское время, напротив, время имманентного уровня, хотя с некоторой соотносительностью с внутренним уровнем, — это, по преимуществу, континуум, кото-

рый человек не в состоянии прервать, ни "выпрыгнуть" из него"; человек проживает поэтому не чьи-то роли, а свою собственную жизнь.

Хочу добавить, что, предложив некоторые рациональные формулировки тому, что я прочитала, я не выношу никакого окончательного суждения о прочитанном. Более того, во многом я упрощала, стараясь представить некоторые доминирующие, как мне казалось, тенденции в понимании времени тем или иным писателем. В живом тексте всегда можно найти свидетельства совсем обратных суждений. И не потому, что суждения плохо сформулированы, а потому, что опыт чтения исчерпаем по богатству. В разных сознаниях (скажем, в православном, иудейском или буддийском) один и тот же текст разворачивается по-разному. Правда, на уровне имманентном, психологическом, чего нельзя сказать о внутреннем уровне сознания.



СВОБОДУ

Март 1990.



Из воспоминаний
Ильи Львовича
Фейнберга
(1905 – 1979)

Я приехал домой к Цявловскому, и он рассказал мне историю несостоявшейся публикации поэмы.

Когда готовилось Большое академическое издание Пушкина к юбилею 37-го года, редакция (по инициативе Цявловского) получила разрешение напечатать «Тень Баркова» в количестве 300 экземпляров для научного пользования в виде специального приложения к тому 1-му Большого академического издания сочинений Пушкина. И может быть, ее отдали в специальную типографию. По словам Цявловского, в ней работали только двое — глухонемые муж и жена. Они и набирали, и печатали, и брошюровали, выполняли все производственные операции («Что они уж делали друг с другом, начитавшись поэмы, — добавлял Цявловский, — не знаю»).

Поэма была напечатана, и сигнальный экземпляр поступил в Главлит, к тогдашнему начальнику его Ингулову. Но шел 1937 год, и тот был арестован. Никто из пушкинистов — редакторов Академического издания не решился хлопотать тогда о продолжении издания поэмы, и все умолкло.

И вот двенадцать лет спустя кто-то продал сброшюрованный экземпляр поэмы в Книжную лавку писателей. Откуда он взялся — трудно сказать; может быть, это был главлитовский экземпляр, а может быть, еще какой-нибудь, неизвещенный.

...

К. Ваншенкин

ЦЯВЛОВСКИЙ
И БАРКОВ

Эту историю поведал мне мой профессор, замечательнейший пушкинист С. М. Бонди.

Сергей Михайлович рассказал, что до войны маститые профессора — литературоведы имели обыкновение собираться по очереди друг у друга. Читали вслух отрывки из новых работ, делали сообщения. Жен обычно занимала хозяйка — в другой комнате.

Потом — общий ужин. Одно время профессор Цявловский при встречах стал спрашивать у коллег:

— У вас нет надежного машиниста? Мне нужен машинист... Коллеги недоумевали, и он охотно объяснил, что закончил работу у Баркова (может быть, не о нем одном, а и о его влиянии на русскую поэзию). И вот нужен машинист. Нельзя же поручить это машинистке!

Ну, и нашел, конечно. Очередной сбор был у Цявловских. Профессора сдели в кабинете. Дамы в гостиной, за дверью.

Хозяин читал. Он обладал раскатистым голосом, особенно это проявлялось, когда он увлекся. Было много цитат.

Коллеги то и дело вклинивались:

— Т-с-с!

— Мстислав Александрович, умоляем, тише!

— Там же все слышно.. Работа эта, сказал Сергей Михайлович, существует. Но как закрытая работа. Ведь существуют засекреченные работы в области точных наук.

А Иван Барков (около 1732 — 1788) и вправду удивительная фигура. Он перевел сатиры Горация, написал биографию Кантемира. На наиболее известных был своими фривольными сочинениями.

Это бы, разумеется, не имело никакой ценности, если бы не самый его стих — невероятной свободы и изящества. Вот цитирую по памяти:

Дом двухэтажный занимаю,
У нас в Москве жила-была
Вдова, купчиха молодая,
Лицом румяна и бела.

Кто бы еще мог так написать
за полвека до Пушкина!

23.3.90

Важное обозрение

ПУШКИНУ!

Андрей Чернов

”ТЕНЬ БАРКОВА”

или еще о пушкинских эротических ножках

Дома большею частью лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: ”Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Лъзя ли жить мне, я сказал”. Должно быть, Пушкина сочинение...

Гоголь. Записки сумасшедшего.

Барковским должно слогом
Баркова воспевать;
Но, убирайся с богом,
Как ты, ебена мать,
Не стану я писать.

Пушкин. 1815 год.

ТИХАЯ СЕНСАЦИЯ ”ЛГ”

Видимо, виновата пресловутая ”перестройка”. Иначе не объяснить, почему прошлогодняя эта публикация в ”Мире Пушкина” (Досье ЛГ, приложение к ”Литературной Газете”, июнь 1990) не наделала всероссийского шума. Съезды, Ельцин, Полозков, Собчак... Рыжков с его Павловым и оба вместе с их пустыми рублями (раши-деревяши) и нашими пустыми прилавками, социальная конфронтация, наконец... До Пушкина ли, братец?

И все-таки, кто надо и кому должно прочли. Сенсацию мусолить не стали, но к сведению приняли.

Косвенное доказательство тому — сворачивание патриоти-

ческой кампании по литературному отстрелу ярого пушкинофоба, изволившего — видите ли! — самолично прогуливаться с солнцем нашей поэзии по лагерной зоне и обнаружившего, что у подростка-классика произрастали откуда надо тонкие эротические ножки, на коих подросток и имел честь вбежать в храм российской словесности.

Вряд ли прогрессисты из "Литгазеты" думали о проблемах уже было припертого к стенке и на Западе, и в отечестве, литературного уркагана Абрама Терца, но разворот в их "Досье", может быть, невольно спас лит-Дантеса и почти власовца от неминуемой расплаты. И можно вообразить, как покачивали сокрушенными главами солидные и серьезные дяди на Тверском бульваре, в Вермонте и Замоскворечье: ушел, подлец...

А, может быть, и не было никакой связи между двумя этими событиями, или связь была, но лишь внутренняя и мистическая, странная, сиречь сближающая, российская связь. Трудно быть историком собственного времени, особенно у нас, где спустя полтора века после гибели классика (и полвека после выхода первых томов Полного и Академического его собрания сочинений) возможно невзначай открыть, что целая поэма, простите — баллада в 288 полнокровных, вышедших из-под несравненного пера стихов, — утаена академиками и докторами от самой читающей в мире публики.

И даже на переходе от "гласности" к почти подлинной свободе слова храбрые коллеги мои из "ЛГ" сумели лишь заявить о своем открытии, да и то устами покойного пушкиниста Ильи Львовича Фейнберга, напечатав не саму балладу, а только рассказ о ней. (Гаевский в некрасовском "Современнике" хоть полсотни купированных стихов из этого заповедного сочинения смог протащить сквозь рогатки перестроечной, образца александровского века цензуры, ну да куда ей до нашего Главлита, пусть и отмененного.)

Меж тем в Милане баллада А.С.Пушкина "Тень Баркова" благополучно была издана билингвой, о чем и сообщил автору этих строк питерский литературовед М.Д.Эльзон, державший эту книжку в руках. Так и написано на титуле: Пушкин, ТЕНЬ БАРКОВА, и год выхода совсем недавний — то ли прошлый, то ли позапрошлый. Да поди найди, тиражик-то крохотный, и в Ленинку обязательного экземпляра слать у них, миланцев, не принято.

Порнографический Пушкин? А почему бы и нет?

Ну откуда пятнадцатилетнему отроку было знать о том, что он — Солнце Нашей Поэзии, и в далеком грядущем выходкой своей очень расстроит записных наставников средней и высшей школы, как, впрочем, не раз шалостями в духе пресловутого А.Терца до слез доводил лицейских надзирателей.

Правда, он сам жаловался, что в России все крамольные сочинения ходят под его именем, как все непристойные под именем Ивана Баркова. И славная сия традиция, по крайней мере во второй ее части, блистательно дожила до наших дней.

Вот передо мной роскошное издание: "Иван Барков, ЛУКА МУДИЩЕВ". Оттиснено с оригинальными — чуть не в лист! — гравюрами, предисловием и комментарием, выполненным, как и сами иллюстрации, Александром Гамбургом. "Manuscript Publishing House", 1982. Читаем:

"Одним из украшений художественной жизни эпохи Екатерины II Великой /.../ явилось творчество поэта Ивана Баркова (1732 — 1768 гг.)"

Ну и т.д. — про то, что умер молодым, спившись, про поэтические переводы его из Горация, ныне забытые, про буйные скандалы во хмелю и без онога, службу в Академии... "Но его историческая роль оказалась совершенно иной, чем его скромная карьера. Он — автор первого в русской литературе поэтического произведения, написанного на современном русском языке".

Другими словами, на том поэтическом языке, который, как считается, создал Пушкин, а еще точнее — Жуковский с Батюшковым. Ну и дальше, о том, что подлинная рукопись утрачена, а списков миллион, и нужен вкус, нужен такт, дабы реконструировать начальный текст. Действительно, — нужен, тем более, когда в том же издании сказано, что "Лука Мудищев" почти победоносно шествует по планете и переведен уже во многих странах. Шутка ли?

Ладно, можно спорить, были ли при Екатерине Великой "радужные ассигнации", и мог ли Барков сравнивать некий предмет с "пожарной кишкой". Тут надо изучать нумизматику и пожарное дело, и спор все равно не разрешится.

Можно, конечно, указать, что в рукописных сборниках осьмнадцатого столетия, что в изобилии хранятся в том же Пушкинском Доме, среди барковских сочинений "Луки Муди-

щева” нет, зато есть другие образчики ”творца современного языка”, которые современники почитали барковскими. Вот, скажем, из Восьмой оды ”Приапу”:

”Приап! Творитель пизд, хуев, // Владелец сильный над
мудами, // Всегда ты всех ети готов; // Обнявшись ты лежишь
с пиздами; // Твой хуй есть рог единорога, // Стоит бесслабно
день и ночь, // Не может пизд отбить он прочь – // Столь рев-
ность есть к тебе их многа!”

Это – первая строфа, но и другие строфы, да и оды, напи-
саны на столь же добропорядочном (стилистически, разумеет-
ся) ординарном языке своего века, языке, впрочем, более ар-
хаичном, чем у Ломоносова.

Ладно, – скажут. Пусть Иван Барков и в самом деле так
писал. Но где гарантии, что перед смертью ему, озаренному, не
открылась тайна пушкино-жуковской гармонии? Может, ”Му-
дищев” – та самая лебединая песнь старинного похабника и
скандалиста?

Крыть нечем. Напрасно станем убеждать, что описание ро-
дословного древа Луки – калька (и пародия, довольно остро-
умная в своем жанре) с пушкинской ”Родословной моего ге-
роя”. Не удержимся и процитируем лже-Баркова:

”Но тут позвольте отступление // Мне сделать с этой же
строки, // Чтоб дать Вам вкратце изложение // О роде-племени
Луки.

Весь род Мудищевых был древний, // И предки нашего
Луки // Имели вотчины, деревни // И пребольшие елдаки.

Из поколения в поколение // Передавались те хуи, // Как
бы отцов благословенье, // Как бы наследие семьи.

Мудищев, именем Порфирий, // Еще при Грозном службу
нес // И хуем поднимая гири, // Порой смешил царя до слез.

Покорный Грозного веленьям, // Своей елдой без затруд-
нения // Он убивал с размаха, вдруг, // В опале бывших царс-
ких слуг.

(Стих, конечно, не ах, но нам скажут, что за полвека до
Пушкина так не писал ни один русский стихотворец.)

Другой Мудищев, парень бравый, // Петрово дело защи-
щал // И в славной битве под Полтавой // Он хуем пушки про-
чищал!

(Поразительное пророчество для любителей барковских
штучек, ведь пишет ”пушки”, а угадывает пушкинскую инто-

нацию. Велик, велик Барков!)

При матушке Екатерине // Благодаря своей махине //
Был в почестях Мудищев Лев, — // Блестящий генерал-аншеф.

(Уж не в честь ли этого Льва родители Пушкина назвали
Львом пушкинского братца?)

Свои именья, капиталы // Пропил Луки беспутный дед.
// И наш Мудищев, бедный малый, // Был нищим с самых ранних лет.

...Позвольте, но ведь Иван Барков помре в 1768-м. Как же может описывать он, едва заставший екатерининское царствование, трагическое происшествие, что оборвало жизнь внука екатерининского генерала?

Пушкин, Пушкин попутал, ну а комментатор и проглядел: поэмка-то писалась как минимум в конце тридцатых годов XIX века! И сама же указывает на это.

Словом, "наутро там нашли три трупа".

С Лукой все ясно, хотя ничего не ясно с его автором.

Кто был он? Москвич, живший в середине (не раньше) XIX столетия? От Баркова взял он лишь сквернословие, ну а сама традиция тут не барковская — пушкинская. Но не Александра Сергеевича, а Василия Львовича с его "Опасным соседом".

Способный был стихотворец этот автор "Луки", которое поколение юнцов и эротоманов обеспечивает он подростковым самиздатом. Ведь политические страсти эпохи выветриваются, и становятся наказанием школяров "прогрессивные" стихи, ну а это — вечное, нетленное. Золотой фонд прыщавого возраста.

От Мудищева вернемся к Ебакову. Увы, именно так звучит фамилия главного героя "Тени Баркова".

Публикация в "Досье ЛГ" подготовлена М.И.Фейнберг, вдовой известного пушкиниста.

"История несостоявшейся публикации".

Это заголовок.

И вместо предисловия приведена дневниковая запись И.Л.Фейнберга: "...рукопись из Истры и поездка в Барвиху к А.Н.Толстому. Сказать о самой поэме. 1816 г. Первая уже совершенная по стиху поэма Пушкина".

Из того же "Досье" читатели узнали, что еще в тридцатые годы Мстислав Александрович Цявловский откомментировал

"Тень Баркова" и подготовил поэму к печати. В 1937 году она и была оттиснута тиражом триста экземпляров, и сигнал послан в Главлит. Поскольку издание планировалось только для специалистов, а каждый экземпляр должен был появиться в свет с особым грифом и номером, вряд ли кто предполагал, что приключится беда. Но она приключилась. Начальник Главлита Сергей Ингулов был арестован. И редакторы академического собрания, приложением к которому "Тень Баркова" и должна была стать, сочли за благо не беспокоить нового начальника столь несерьезным и опасным делом.

Впрочем, нельзя сказать, что пушкинисты забыли о поэме. Перед войной Цявловский с Андрониковым ездили читать ее в Барвиху к "красному графу". Подробности этой читки пока огласке не преданы, но, вероятно, произведение имело успех.

В конце войны к Цявловскому приехала из Истры пожилая учительница и привезла "старинную" копию "Тени Баркова". Танкисты нашли ее на каком-то чердаке. Под поэмой стояло имя Пушкина. Далее рассказ И.Л.Фейнберга столь замечателен, что грех перелагать его своими словами: "Читали друг другу, потом истринским девушкам, за которыми ухаживали. Девушкам поэма тоже понравилась, когда они увидели подпись "А.Пушкин", решили показать рукопись своей бывшей школьной учительнице. Та прочла, очень стесняясь, убедилась, что в собрании сочинений Пушкина эта поэма не напечатана, решила, что это может быть неизвестная (хотя и непристойная) поэма Пушкина, и что она ценна и нужна для науки.

Танкисты согласились выменять ее на два литра водки. Учительница достала (с трудом) два литра и получила редкую рукопись. Она отвезла ее Цявловскому и даже отказалась взять у него два литра водки, какие отдала сама за рукопись".

В прелестном этом рассказе мы обнаружили лишь одну неточность: тираж заповедного издания был, кажется, не 300, а всего 200 экземпляров. Так во всяком случае свидетельствует аннотация к наборному экземпляру, хранящемуся в Пушкинском Доме в собрании Н.П.Смирнова-Сокольского. На титульном листе читаем: "Тень Баркова". Баллада Пушкина. Установление текста, вариантов и исследование М.А.Цявловского. 1930 — 1931".

В книге научный аппарат занимает более ста страниц непарели. Поскольку исследование это не издано, нам придется

по возможности кратко изложить и его суть, и важнейшие аргументы маститого (скажем даже — классического) пушкиниста, одного из столпов советского пушкиноведения. Но, понимая волнение читателей, все ж сначала обратимся к самому бесмертному тексту "Тени Баркова".

Мы воспроизводим его по книге Цявловского, однако позволяю себе записать несравненные ямбы в строку, а не в столбик.

Итак:

ТЕНЬ БАРКОВА

1

Однажды зимним вечерком // В бордели на Мещанской // Сошлись с расстриженным попом // Поэт, корнет уланский, // Московский модный молодец, // Подьячий из Сената // Да третьей гильдии купец, // Да пьяных два солдата. // Всяк, пуншу осушив бокал, // Лег с блядью молодою // И на постели откатал // Горячую елдою.

2

Кто всех задорнее ебет? // Чей хуй средь битвы рьяной // Пизду кудрявую дерет, // Горя как столб багряный? // О землемер и пизд и жоп, // Блядун трудолюбивый, // Хвала тебе, расстрига поп, // Приапа жрец ретивый. // В четвертый раз ты плешь впустил // И снова щель раздвинул, // В четвертый принял, вколотил // И хуй повисший вынул!

3

Повис! Вотще своей рукой // Ему милашка дробит // И плешь сжимает пятерней, // И волосы клокочет; // Вотще! Под бешеным попом // Лежит она, тоскует // И ездит по брюху верхом, // И в ус его целует. // Вотще! Елдак лишился сил; // Как воин в тяжелой брани, // Он пал, главу свою склонил // И плачет в нежной длани.

4

Как иногда поэт Хвостов, // Обиженный природой, // Во тьме полуночных часов // Корпит над хладной одой; // Пред ним несчастное дитя — // И вкривь, и вкось, и прямо // Он слово звучное, кряхтя, // Ломает в стих упрямо, — // Так блядь трудилась над попом, // Но не было успеха, // Не становился хуй столбом // Как будто бы для смеха.

5

Зарделись щеки, бледный лоб // Стыдом воспламенился; // Готов с постели прыгнуть поп, // Но вдруг остановился. // Он видит – в ветхом сюртуке // С спущенными штанами, // С хуиной толстою в руке, // С отвисшими мудами // Явилась тень – идет к нему // Дрожащими стопами, // Сияя сквозь ночную тьму // Огнистыми очами.

6

“Что сделалось с детиной тут?” // Вещало привиденье. // “Лишился пылкости я муд, // Елдак в изнеможеньи, // Лихой предатель изменил, // Не хочет хуй яриться”. // “Почто ж, ебена мать, забыл // Ты мне в беде молиться?” // “Но кто ты?” вскрикнул Ебаков, // Вздрогнув от удивленья. // “Твой друг, твой гений я – Барков!” // Сказало привиденье.

7

И страхом пораженный поп // Не мог сказать ни слова, // Свалился на пол будто сноп // К портищам он Баркова. // “Восстань, любезный Ебаков, // Восстань, повелеваю, // Всю ярость праведных хуев // Тебе я возвращаю. // Поди, еби милашку вновь!” // О чудо! Хуй ядреный // Встает, краснеет плешь как кровь, // Торчит как кол вонзенный.

8

“Ты видишь, продолжал Барков, // Я вмиг тебя избавил, // Но слушай: изо всех певцов // Никто меня не славил. // Никто! Так мать же их в пизду, // Хвалы мне их ненужны, // Лишь от тебя услуги жду – // Пиши в часы досужны! // Возьми задорный мой гудок, // Играй как ни попало! // Вот звонки струны, вот смычок, // Ума в тебе не мало.

9

Не пой лишь так, как пел Бобров, // Ни Шелехова тоном. // Шихматов, Палицын, Хвостов // Прокляты Аполлоном. // И что за нужда подражать // Бессмысленным поэтам? // Последуй ты, ебена мать, // Моим благим советам, // И будешь из певцов певец, // Клянусь я в том елдою – // Ни чорт, ни девка, ни чернец // Не вздремлют над тобою”.

10

“Барков! доволен будешь мной!” – // Провозгласил детина, // И вмиг исчез призрак ночной, // И мягкая перина // Под милой жопой красоты // Не раз попом измялась, // И блядь во блеске наготы // Насилу с ним рассталась. // Но вот яснее свет днев-

ной, // И будто плешь Баркова, // Явилось солнце за горой //
Средь неба голубого.

11

И стал поэтом Ебаков; // Ебет да припевает, // Гласит везде:
"Велик Барков!" // Попа сам Феб венчает; // Пером владеет
как елдой, // Певцов он всех славнее; // В трактирах, кабаках
герой, // На бирже всех сильнее. // И стал ходить из края в край
// С гудком, смычком, мудами. // И на Руси воззвал он рай //
Бумагой и пиздами.

12

И там, где вывеской елдак // На низкой ветхой кровле, // И
там, где только спит монах, // И в скопищах торговли, // Везде
затейливый пиит // Поет свои куплеты // И всякий божий день
твердит // Баркова он советы. // И бабы и хуиный пол // Дрожа
ему внимали, // И даже перед ним подол // Девчонки подымали.

13

И стал расстрига-богатырь // Как в масле сыр кататься. // Од-
нажды в женский монастырь, // Как начало смеркаться, // При-
ходит тайно Ебаков // и звонкими струнами // Воспел победу
елдаков // Над юными пиздами. // У стариц нежный секелек
// Зардел и зашатался, // Как вдруг ворота на замок, // И плен-
ным поп остался.

14

Вот в келью девы повели // Поэта Ебакова. // Кровать там мяг-
кая в пыли // Является дубова. // И поп в постелю нагишом //
Ложится поневоле, // И вот игуменья с попом // В обширном
ебли поле. // Отвисли титьки до пуа, // А щель идет вдоль брю-
ха, // Тиран для бедного попа // Проклятая старуха!

15

Честную мать откатал // Пришлец благочестивый, // И в думе
страждущий сказал // Он с робостью стыдливой: // "Какую пла-
ту восприму?" // "А вот, мой сын, какую: // Послушай, скоро
твоему // Не будет силы хую! // Тогда ты будешь кашлуном, //
А мы прелюбодея // Закинем в нужник вечером // Как жерт-
ву Асмодея".

16

О ужас! бедный мой певец, // Что станется с тобою? // Уж бли-
зок дней твоих конец, // Уж ножик над елдою! // Напрасно еть
усердно мнишь // Девицу престарелу, // Ты блядь усердьем не
смягчишь // Под хуем поседелу. // Кляни заебины отца // И ма-

терну прореху. // Восплачьте, нежные сердца, // Здесь дело не до смеху!

17

Проходит день, за ним другой, // Неделя протекает, // А поп в обители святой // Под стражей пребывает. // О вид, угодный небесам! // Игуменью честную // Ебет по целым он часам // В пизду ее кривую, // Ебет... но пламенный елдак // Слабеет боле, боле, // Он вянет как весенний злак, // Скошенный в чистом поле.

18

Увы, настал ужасный день. // Уж утро пробудилось, // И солнце в сумрачную тень // Лучами водрузилось, // Но хуй детинин не встает. // Несчастный устранился, // Вотще муде свои трясет, // Напрасно лишь трудился: // Надулся хуй, растет, растет, // Вздывается лениво... // Он снова пал и не встает, // Смутился горделиво.

19

Ах, вот скрипя шатнулась дверь, // Игуменья подходит, // Глазит: "Еще пизду измерь" // И взорами поводит, // И в руки хуй... но он лежит, // Лежит и не ярится, // Она щекочет, но он спит, // Дыбом не становится... // "Добро", игуменья рекла // И вмиг из глаз сокрылась! // Душа в детине замерла, // И кровь остановилась.

20

Расстригу мучила печаль, // И сердце сильно билось, // Но время быстро мчалось вдаль // И темно становилось. // Уж ночь с ебливою луной // На небо наступала, // Уж блядь в постели пуховой // С монахом засыпала, // Купец уж лавку запирал, // Поэты лишь не спали. // И, водкою налив бокал, // Баллады сочиняли.

21

И в келье тишина была. // Вдруг стены пошатнулись, // Упали святцы со стола, // Листы перевернулись, // И ветер хладный пробежал // Во тьме угрюмой ночи. // Баркова призрак вдруг предстал // Священнику пред очи: // В зеленом ветхом сюртуке, // С спущенными штанами, // С хуиной толстою в руке, // С отвисшими мудами.

22

"Скажи, что дьявол повелел". // Надейся, не страшися". // "Увы, что мне дано в удел? // Что делать мне?" – "Дрочися!" // И гре-

шный стал муде трясти. // Тряс, тряс, и вдруг проворно // Стал хуй все вверх и вверх расти, // Торчит елдак задорно. // И жарко плешь огнем горит, // Муде клубятся сжаты, // В могучих жилах кровь кипит, // И пышет керч мохнатый.

23

Вдруг начал щелкать ключ в замке, // Дверь громко отворилась, // И с острым ножиком в руке // Игуменья явилась. // Являются гнев черты лица, // Пылает взор собачий. // Но вдруг на грозного певца // И хуй попа стоячий // Она взглянула, пала в прах, // Со страху обосралась, // Трепещет бедная в слезах // И с духом тут рассталась.

24

"Ты днесь свободен, Ебаков! // Сказала тень расстриге. // Мой друг, успел найти Барков // Развязку сей интриге. // Поди! (отверзта дверь была), // Тебе не помешают, // Но знай, что добрые дела // Святые награждают. // Усердно ты воспел меня, // И вот за то награда!" // Сказал, исчез — и здесь, друзья, // Кончается баллада.

АВТОРИТЕТЫ И АРГУМЕНТЫ

Теперь, когда поэма прочитана, и читатель, надеюсь, избавился от некоторого шока, наберемся серьезности и добросовестности, чтобы изложить аргументацию М.А.Цявловского. А заодно и историю появления "Тени Баркова" на горизонтах пушкиноведения.

Начнем с цитирования, чтобы чуть позже перейти к пересказу:

"Единственное указание на принадлежность баллады "Тень Баркова" Пушкину имеется в статье В.П.Гаевского "Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения", напечатанной в №№ 7 и 8 "Современника" за 1863 г. и с тех пор никогда не перепечатывавшейся. /.../ Работа Гаевского основана на лицейских бумагах 1811 — 1817 гг., хранившихся у М.Л.Яковлева, на бумагах архивов: лицея и бывшего директора лицея Е.А.Энгельгардта, на записке о Пушкине М.А.Корфа и на рассказах о Пушкине его товарищей".

Переведем дух, чтобы заметить: Гаевский при всей своей пунктуальности все же странным образом забывает отметить, кто именно — Яковлев или Корф поведал ему о "Тени Барко-

ва”, и где сам публикатор взял список поэмы. Цявловский, впрочем, видимо, чувствует некую загадочность чудесного возникновения текста и перечисляет тех, кто мог рассказать Гаевскому. Список выглядит весьма внушительным: Яковлев, Матюшкин, Данзас, Комовский, Корф. Последний даже читал статью Гаевского и вернул, не оспорив замечаниями, что, надо полагать, — знак согласия с истинностью рассказанного в самой статье.

Гаевский называет ряд не дошедших до нас произведений Пушкина-лицеиста: "...по рассказам товарищей его, он, в первые два года лицейской жизни, написал роман в прозе: "Цыган" и вместе с М.Л.Яковлевым комедию "Так водится в свете", предназначавшуюся для домашнего театра. После этих опытов он начал писать комедию "Философ", о которой упоминается в записках, напечатанных в его биографии г. Анненковым; но сочинив только два действия, охладел к своему труду и уничтожил написанное. В то же время он сочинил, в подражание Баркову, поэму "Монах", которую также уничтожил по совету одного из своих товарищей. Увлеченный успехом талантливое и остроумное произведение своего дяди В.Л.Пушкина "Опасный сосед", которое ходило тогда в рукописи и с жадностью читалось и перечитывалось, племянник пустился в тот же род, и, кроме упомянутой поэмы, написал "Тень Баркова", балладу, известную по нескольким спискам. Последнюю он выдавал сначала за сочинение князя Вяземского, но, увидев, что она пользуется большим успехом, признался, что написал ее сам. Это стихотворение, неудобное вполне для печати, представляет местами пародию на балладу Жуковского "Громобой".

Дальше Гаевский приводит пятьдесят три "удобных для печати" стиха, отмечает, что "это Пироновское направление, которому отдала дань почти все замечательные поэты, которыми увлекался и четырнадцатилетний Пушкин, что дало повод сказать о нем в одной из "национальных песен": "А наш француз // Свой хвалит вкус // И матерщину порет".

Упоминает Гаевский и о том, что свою балладу в лице сам Пушкин называл эвфемизмом: "Тень Кораблева", "чтобы сколько-нибудь замаскировать этим названием имя героя и ее слишком игривое содержание".

Цявловский категоричен: такого не придумаешь. Да и открытие "Монаха", написанного, впрочем, вовсе не в барков-

ском духе, убеждает в истинности лицейского предания: "Тень Баркова" — творение юного Пушкина. Дата написания баллады — не позднее 1815 года. (Как ясно из воспоминаний Фейнберга, позднее балладу Цявловский передатировал следующим, 1816-м годом.)

Не будем задерживать читательское внимание на истории публикации "Тени Баркова", точнее — отрывка из нее, появившегося в 1870-м в издании Я.А.Исакова (редактор Г.Н.Геннад) в примечаниях к 1 тому. Впрочем, через десять лет П.А.Ефремов, также в исаковском издании, решив, что баллада Пушкину не принадлежит, в последний момент уберет ее, не успев убрать примечания и строчки из оглавления тома: "Тень Баркова". Отрывки из баллады". Но чего ждать от Ефремова, который, как известно, не отличался ни чутьем, ни вкусом?

Ефремов действительно не выдвинул никаких серьезных аргументов, кроме, пожалуй, единственного: действие "Тени Баркова" происходит в Москве, а Пушкин из первопрестольной увезен ребенком и города не знает. И Цявловский совершенно справедливо указывает: единственный урбоним в балладе — Мещанская улица, но как раз не в Москве, а в Питере это место борделей. Вспомним в "Моей родословной" о Булгарине: "Он — в Мещанской дворянин".

Итак, Ефремов сделал свое черное дело, и барковская тень исчезла с того времени со страниц собраний сочинений. Что, конечно, печально.

О балладе забыли. Лишь О.Н.Лернер в статье к 1 тому венгеровского собрания упомянул о ней как о "довольно посредственной вещи", Пушкину явно не принадлежащей. Впрочем, он поверил Ефремову на слово, самой баллады не видел.

Когда в архиве князя А.М.Горчакова был обнаружен автографический текст "Монаха", другой знаменитый пушкинист, П.Е.Щеголев, поставил вопрос и о "Тени Баркова". Весьма осторожно он все же склонялся к тому, что баллада пушкинская, и предложил издать ее малым тиражом для всестороннего изучения пушкиноведами.

Резко переменил свое мнение и Лернер. Если в 1907 году он доверял Ефремову, то спустя два десятилетия в журнале "Огонек" (1929, № 5) он доказывал (как пишет Цявловский — "убедительно"), что балладу мог написать только Пушкин. (При этом тот же Цявловский отмечает: полный текст баллады

Лернеру все еще не известен!) Лернер писал: "Не только сообщение Гаевского не вызывает никаких сомнений, но в пользу авторства Пушкина говорят и сами стихи, которых нет никакой возможности приписать кому-либо другому из тогдашних лицейских поэтов. Ни у Дельвига, ни у Илличевского (не стоит говорить о Кюхельбекере) мы не найдем стихов такой силы, энергии и зрелости. Пушкин быстро шел вперед и всех обогнал".

От себя заметим двойную некорректность этого пассажа. Первое: странно рассуждать о несравненности стиха, если тебе известен только отрывок. Второе: в десятые годы в России стихами баловались не только отроки-лицеисты, и если даже мы примем на веру, что "Тень Баркова" читалась в лицее, все ж не исключено, что мог ее написать кто-то из "взрослых". Не зря ж и Пушкин по анонимному рассказу то ли Корфа, то ли Яковлева, выдавал балладу за сочинение Вяземского. И только потом "признался". (Поверим и в это. Признался. Но как и при каких обстоятельствах это было? Можно вообразить десяток вариантов ситуации, когда у Пушкина, скажем, и в мыслях не было присваивать себе авторство порнобаллады, но его молчание или смех мог быть истолкован как "признание".)

Однако мы отвлеклись от комментария Цявловского. Он пишет, что располагает шестью рукописями "Тени Баркова" (это помимо того, что опубликовал в "Современнике" Гаевский.) Все списки входят в состав рукописных сборников фривольного или порнографического содержания.

Наиболее старый список комментатор обозначает литерой "С". Датируя его серединой XIX века, Цявловский указывает, что под "Тенью Баркова" стоит подпись... "Барков". Но позже кто-то зачеркнул это слово карандашом, приписав сверху "Пушкин". Текст баллады списан малограмотным человеком.

Список "Р". Он в сборнике, составленном в 1864 году неким анонимным переводчиком итальянских стихов. Цявловский пишет, что из всех известных ему текстов баллады этот "лучший в отношении грамотности".

Составитель имел в своем распоряжении как минимум три текста баллады (о чем свидетельствуют варианты). Баллада подписана "А.Пушкин и Языков", но имя Пушкина зачеркнуто.

Список "А" в сборнике с названием "Еблематическо-скабресный Альманах. Собрание неизданных в России тайных хранимых рукописей знаменитейших писателей древности, сред-

них веков и нового времени. Выпуск... Из бумаг покойного графа Завадовского и других собирателей”.

Как показывает Цявловский, граф, может быть, совершенно ни при чем. Равно как и указание на 1865 год. Сборник на рубеже XIX и XX веков составлен второстепенным актером Московского Малого театра Н.В.Пановым. Составление подобных ”альманахов” было его промыслом и приработком. Он переписывал порнографические тексты какого-то собрания (не графа Завадовского, разумеется), но поскольку круг клиентов был ограничен, Панов стал добавлять новые тексты к старым, выдавая это за новые ”выпуски”, списывал совершенно приличную лирику, уснащая ее похабным словарем, просто разгонял текст, чтобы тетрадь была потолще.

Под заглавием стоит ”Баллада”, ниже — ”А.Пушкина”.

Список ”М” (без подписи) исключителен по своей безграмотности. Цявловский датирует его весьма неопределенно: ”не позднее XIX века”. Видимо, речь о конце столетия.

Пятый текст баллады (полный) в сборнике, составленном в XX веке. Текст без подписи. Условная литера для классификации ”К”.

Список ”Щ” (принадлежавший П.Е.Щеголеву отрывок в шестьдесят семь стихов). Том в лист с красным переплетом и золотым тиснением. На форзаце написано ”Стихотворения 1832 года”. Цявловский, впрочем, устанавливает, что тексты начали вписываться в этот сборник в 1851 году. Баллада без подписи, текст худший и наиболее безграмотный из всех прочих.

Наконец, текст Гаевского по ”Современнику”: ”Г”.

И восьмой, не описанный, тот, что привезла ”году в 1944-м” истринская учительница.

Цявловский отмечает орфографическую неграмотность всех списков (кроме ”Р”). В некоторых часть стихов пропущена, но текстологические искажения не велики: в большей части это разные варианты отдельных стихов.

(Далее в книге следует таблица вариантов, которую мы опускаем.)

Цявловский признает, что в балладе ”количество похабных слов, можно сказать, ошеломляюще чрезмерно”. В этом исследователь и видит ”мальчишеское происхождение” текста: ”Юный автор, увлеченный запретностью и новизною сюжета, с наигранным цинизмом старается уснастить свое произведение

возможно большим количеством нецензурных слов”.

Оказывается, что большинство из них Пушкин не только знал, но и употреблял в стихах и эпистолярной прозе. (Тут на много страниц следуют выписки, с блеском и научной скрупулезностью подтверждающие этот факт. Это, может быть, наиболее любопытная часть исследования, но она явно имеет лишь самостоятельное значение, в книге же ее роль скорее эмоциональна, чем рациональна: пушкинисту важно пушкинской матерщиной оправдать ”ошеломляюще чрезмерную” концентрацию похабщины самой баллады. И это, скорее, выглядит как некая невольная подтасовка, ибо другого случая мата ради мата, а тем более ради воспаляющей похабности у поэта мы не находим. Пушкин матерится как нормальный русский человек: или в злости, или для шутки).

Мнения мемуаристов (а тем более мемуаристок!) вроде цитируемого исследователем ”Пушкин – любитель непристойного” крайне уязвимы, чтобы ссылаться на них для доказательства пушкинского авторства ”Тени Баркова”.

Это примерно то же, что ссылкой на лицейский отзыв о Пушкине директора Энгельгардта обосновывать вывод о безнравственном и пустом пушкинском сердце.

Ниже исследователь приводит ряд параллелей отдельных мест и стихов порнографической баллады и разных, большей частью лицейских стихотворений поэта. (Заметим, речь идет или об опубликованных тогда же стихах, или о стихах, разошедшихся в списках.)

И все?..

Увы, – это все. Впрочем, есть еще и авторитетный вывод: ”Тень Баркова” – вещь большого мастерства... лучшее произведение в барковском стиле”.

МУКИ ЭРЕКТИЧЕСКОЙ МУЗЫ

С выводом Цявловского не спорили. И не потому, что в конечном счете книжка не вышла: пушкинистика тесна, а тем более пушкинистика академическая. Процитируем лишь несколько отзывов. Б.В.Томашевский: ”К числу вещей, отсутствующих в собраниях сочинений Пушкина, следует еще присоединить одну поэму. /.../ Произведение это неудобно для цитирования. Сверхфривольный сюжет, выраженный вполне не-

принужденно, перемежается с литературными выпадами. /.../ Писано, повидимому, в угоду низкопробной славе”.

Это написано в 1956-м. Но вот нечто более свежее: ”Оба произведения (”Тень Баркова” и стихотворение Пушкина ”Тень Фонвизина” — А.Ч.) объединяет и общность объекта литературной сатиры: тут и там возникает (причем не раз) фигура Д.И.Хвостова”. Так пишет уже в 1989 году в 23 выпуске ”Временника Пушкинской комиссии” Л.С.Сидяков. Но, пожалуй, ограничимся, ибо нам неизвестно ни одного за последние шесть десятилетий негативного отзыва о ”Тени Баркова”. Иными словами, можно констатировать, что советская академическая наука согласилась с тем, что баллада явно пушкинская, хотя и ”сверхфривольная”, ”циничная” и пр.

Пожалуй, лишь Александр Михайлович Панченко (не пушкинист, но специалист по древнерусской литературе и восемнадцатому веку, в курилке Пушкинского Дома скривился, когда речь зашла о ”Тени Баркова”: ”Это не Пушкин, это хам писал”. Аргумент сильный, но и весьма, признаем, вкусовой, следовательно, ничего не доказывающий.

Инерция любой традиции (особенно научной), как правило, бывает столь сильна, что и там, где, в сущности, никаких аргументов не требуется — достаточно непредвзятого прочтения, дабы понять: Господи, да какой же это Пушкин? — мы все же вынуждены делать серьезное лицо и всерьез копаться в окаменевшем дерьме, выдаваемом за золотой слиток.

Разумеется, легче всего было сопоставить уровень версификации порнобаллады с тем, как Пушкин писал в лицейские годы. Есть лицейское стихотворение как раз 1814 года и написанное в размере ”Тени Баркова”:

Друзья, досужий час настал,
Всё тихо, всё в покое,
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!
.....
Но что, я вижу всё вдвоем.
Двоится штоф с араком,
Вся комната пошла кругом,
Покрылись очи мраком.
Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради.

Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее.
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

Соблазнительно устроить очную ставку "Пирующим студентам" и козлоногой "Тени Баркова":

И на Руси воззвал он рай
Бумагой и пиздами.

Тут сам Пушкин, кажется, должен воскликнуть ну хотя бы строками из собственной реплики на картинке к "Онегину" в "Невском альманахе": Татьяна мнет в руке бумажку, за не живот у ней болит".

Но всегда (и справедливо) можно сказать, что версификационные недостатки тех или иных стихов "Тени Баркова" объяснимы: полуграмотные писцы путали текст, записанный, видимо, по памяти кем-то из лицеистов. (Заметил ли читатель, что все списки баллады Цявловский датирует или серединой XIX века, или даже более поздним временем?) Более того, как ни странно это, но сличение списков "Тени Баркова" показывает, что один из столпов пушкинистики оказался просто-напросто беспомощным дилетантом, реконструируя текст негения. Он словно растерял всю свою профессиональную квалификацию, тонкий инструментарий аналитика-текстолога оказался бессильным против т а к о г о материала, вкус, редко подводивший при чтении великой поэзии, вдруг оборачивается разверстым зиянием. Из шести имевшихся в его распоряжении рукописей Цявловский не смог реконструировать протографа, сколь-либо убедительного. Он просто не увидел некоей системы, отличной от пушкинской, и последовательно стал заниматься подгонкой под требуемый ответ, эдакой разновидностью текстологической маструбации.

Отметив список "Р" как наиболее орфографически грамотный, пушкинист отказался понимать, что именно "Р" в ряде случаев передает оригинальную манеру анонимного стихотворца. А в других местах авторские варианты довольно легко уга-

дываются при сличении остальных списков.

Строки о рае, который "воззвал бумагой и пиздами" тень Баркова обращенный в пиита Ебаков, строки, возможные лишь под пером наиболее дикого тунгуса, конечно, принадлежат переписчику. В "Р" читаем: "И на Руси вкушает рай..." Но исследователь бежит от очевидного варианта, ведь вкушать можно разве что ртом, а никак не бумагой и прочим.

Затемняя смысл, классик пушкиноведения избегает версификационной нелепости, синтаксически невозможного для Пушкина оборота. Чтобы не погубить второго стиха, он уродует первый и, уворачиваясь от текстологической Харибды, предпочитает попасть аккурат на зубок синтаксической Сцилле.

Кстати, для любого лицеиста, да и вообще для любого студента или школяра, "бумага" — странный синоним вместо слова "стихи". Школяр "марает бумагу" не одними виршами, он большей частью пишет по ученической своей надобности. Но пусть бумага... Пусть вкушает или взывает ею рай несравненный Ебаков, так чудесно ставший в один ночной миг поэтом.

Секрет творческой манеры нашего порнографа в полной стиховой импотенции. Автор "Тени Баркова" умеет лихо переразвивать и пародировать (об этом речь впереди), но совершенное дитя в оригинальном версифицировании. Он все время "подрифмывает", потеет в поисках рифмы там, где она не подсказана пародируемыми им стихами, и в результате, справляясь с сопротивлением стихового материала, вынужден нарушать языковые нормы. Это верная мета дилетантизма: у Пушкина даже в 1814 году мы такого уже не находим. И "Пирующие студенты" тому доказательство. Отрок-Пушкин борется уже не с рифмой и грамматикой, а с другим — с традицией и интонацией самих стихов. Он просто находится на другом уровне поэтического мастерства, хотя пока и проходит стадию ученичества у Жуковского, Батюшкова и Дениса Давыдова, а равно у всей ему известной мировой поэзии.

Итак, инстинктивно чураясь всего непушкинского в списках баллады, Цявловский пытается не замечать той авторской физиономии, какая ясно проглядывает из списка "Р" и некоторых, наиболее интересных вариантов других списков. Приведем лишь некоторые примеры.

"Всяк... лег с блядью молодою // И на постели откатал // Горячую елдою". Сомнительная переходность глагола (отка-

тал кого или что?) подтверждена последующим: "Честную мать откатал...". Однако в "Р" употреблен глагол куда как более самодостаточный и не требующий дополнения: "И на постели откатал..." Во втором же случае в "Р": "Честную мать откатал...", но в "А", "К" и "С" и здесь "откатал". Значит в оригинале в обоих случаях надо верить списку "Р". Просто переписчики не заметили синтаксической неточности первого употребления, заимствовав глагол из похожего стиха.

"Повис! Вотще своей рукой // Ему милашка дробит..."
Дробить половому члену?... Роскошный русский язык. А вот как в "Р": "И хуй повисший вынул. // Повис! Вотще своей рукой // Елду молодка дробит..." И в 7 строфе вместо лакейского "милашка", по тому же списку "Р": "Иди, еби молодку вновь!"

Строки "С хуиной толстою в руке, // С отвисшими мудами..." чудовищны не лексически, а, прежде всего, эвфонически. Читаем в "Р": "С елдиной длиною в руке, // С отвислыми мудами..." (Слышит ли читатель аллитерацию?)

"Не пой лишь так, как пел Бобров, // Ни Шелехова тоном. // Шихматов, Палицын, Хвостов // Прокляты Аполлоном". Что такое "тон Шелехова", о котором, кстати, вообще неизвестно, писал ли этот десятистепенный литератор стихи? Да и "такого-то тоном" — явно оборот для того, чтобы срифмовать с Аполлоном. Откуда Палицын? Зачем вновь возникает только что отыгранный Хвостов?

Цявловскому нужен именно такой вариант, ибо он как бы говорит о написании баллады "не позднее середины десятых годов". Меж тем мы были свидетелем, как В.Э.Вацуро, никогда не занимавшийся, по его признанию, "Тенью Баркова", на наших глазах угадал вариант, закрепленный в списке "Р": он предположил, что вместо Шелехова надо читать Шаликова, а ниже, как в знаменитой пушкинской эпиграмме: "Шихматов, Шаховской, Шишков". И действительно, читаем:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
Ни Шаликова слогом,
Шихматов, Шаховской, Шишков
Прокляты Фивским богом.

Почему ж Цявловскому этот вариант, вполне пушкинский, показался неприемлем? Да потому, почему и одному из

редакторов-переписчиков. В нем нет новизны, ибо он целиком "из Пушкина", известного и хрестоматийного.

"Под милой жопой красоты..." Хороша инверсия? А вот в "Р": "...перина // Под жопой милой красоты..." (Отсюда, вероятно, и "милашка" в других списках.) Но "милая красота жопы" — это вновь сказано (и увидено) не гениальным отроком, а старым похабником. Очевидно, чувствуя столь непущинскую руку, Цявловский и не решается демонстрировать неинверсированный, подлинный вариант: инверсия и явная порча стиха спасают от разоблачения.

Усредняя, избегая слишком эпигонских (по отношению к Пушкину) и слишком непущинских стихов, исследователь пытается спасти честь баллады. Удастся это с превеликими трудностями: уши торчат, и уши непущинские.

"И там, где вывеской елдак // На низкой ветхой кровле, // И там, где только спит монах (!), // И в скопищах торговли..." Читаем по "Р": "...Под свесом ветхой кровли, // И там, где с блядью спит монах, // И в капищах торговли..." Конечно, вывески (пусть и столь неординарные) приколачивают не на кровлю, а под ее свесом. Но ведь тут стилистическая смелость тоже какая-то непущинская: свес — слово архаичное, да еще и звук страдает: "подсвесом"! Потому исследователь словно и не видит этих строк.

К "жопе милой красоты" добавим столь же характеризующее анонимного автора выражение "хуястый пол". (Список "Р".) Цявловский выбирает тавтологическое, но куда более похожее на употребленное и Пушкиным однажды выражение "мужской пол", а потому и менее опасное "Хуиный пол".

Мы не ставим целью дать описание всех разночтений. И все ж одно место воистину замечательно: "Он (елдак) вянет, как весенний злак, // Скошенный в чистом поле". Этот вариант выбирает Цявловский. Как не вспомнить батюшковский ландыш "под серпом убийственным жнеца", над которым Пушкин иронизировал? Но как ландыши не растут в поле (не васильки!), так не косят и "весенних злаков". Кстати, "злак" — то есть на языке русской лирики начала XIX века колос — и колоситься начинает не весной, а летом, ближе к Троице.

Читаем в "Р": "Он вянет, как осенний злак..." То, что это начальный вариант, подтверждает следующий стих из списка "С": "Скопленный в чистом поле". "Скопленный" звучит столь

же архаично, прямо по-хвостовски, как и "скошенный". И то, и другое крайне сомнительно для Музы юного Пушкина, но вариант из "Р" вместе с вариантом из "С" восстанавливают разрушенный образ: осенний злак, скошенный и "скопленный" в снопе, вянет в ожидании цепа. Итак, образ восстановлен. Да вот беда: созревший злак не вянет. Он может терять зерна, но представить в снопе увядшую солому вряд ли способен юноша-лицейст.

Болдинской осенью 1830 года отвечая критикам, обвинившим в безнравственности "Графа Нулина", Пушкин записывает: "Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, из коих основано общественное счастье или достоинство человеческое. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав... Но штука, вдохновленная сердечною веселостию и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие".

Может быть, самое поразительное, что Цявловский в своем исследовании приводит это рассуждение, считая, что в пору самоанализа и горького воспоминания о "печальных строках", над которыми плачет и которых не смывает поэт, этот пассаж косвенно подтверждает пушкинское авторство "Тени Баркова" Рефлексия зрелого человека над собственными юношескими грехами в комментариях не нуждается. Но как сам Пушкин к тому же Баркову относился в лицейские годы? Вот из "Монаха":

А ты поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков,
Под Геликон упавший в грязь с Вильоном,
Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
С усмешкою даешь ты мне скрипницу,
Сулишь вино и музу пол-девицу:
"Последуй лишь примеру моему". —
Нет, нет Барков! скрипницы не возьму,
Я стану петь, что в голову придется,
Пусть как-нибудь стих за стихом польется.

Итак, для автора "Монаха" Барков проклят Аполлоном, а для автора "Тени Баркова", напротив, — увенчан "самим Фебом", а "Фивским богом" прокляты лишь угрюмые "Шихматов, Шаховской, Шишков". Полемика автора "Тени Баркова" с Пушкиным гут несомненна.

А вот из "Городка":

Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!..

(Мы не знаем автографа, но, как и несколькими строками ниже, где мат заменен нерифмующейся строкой "Как ты, в том клясться рад", здесь, наверняка читалось "Наполнил лишь хуйней!" Иначе, хоть рифма и цела, возникает явная бессмыслица: как раз не собой, а совсем другим материалом наполнял Барков свои оды, весьма абстрагированные от лирического, личного содержания.)

О ты, высот Парнаса
Наездник небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство бордаков,
Гласят из рода в роды:
"Велик, велик Барков!"
Твой дар ценить умею,
Хоть, право, не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венок...

Ну и далее стихи, взятые нами эпиграфом к нашей статье:
"...Как ты, ебена мать, // Не стану я писать!"

Неужели все же стал? Неужели, в пятнадцать лет дважды послав Баркова подальше, лицейский Француз оскормился-таки "намаранной одой"?

Это невозможно не потому, что юный Пушкин чурался запретного, будь то в лексике, будь в предмете по-

этического изображения. Пушкинский "Монах" эротичен, а "Гавриилиада", которой он действительно стыдился в зрелые годы (на Кавказе вспыхнул, когда тамошние офицеры попросили его почитать), может быть воспринята как святотатство, к порнографии в духе Баркова никакого отношения не имеет. "Барковским слогом" Пушкин-лицеист не мог писать по очень простой причине: похабник Барков и "приличные" Хвостов, Бобров и прочие, для карамзиниста и арзамасца находились равно в стане "староверов". "Тень Баркова", хотя и пародирует, как заметил еще Гаевский, "Громобоя" Жуковского, архаична сама по себе не одними только барковскими погремушками: словарная бедность, полное отсутствие поэтической дерзости, всего того пушкинского, что узнается уже и в ранних его стихах, многочисленные полуповторы в балладе и скроенность ее из поэтических штампов (нет и живого места!) — все обличает непушкинское, более того, враждебное Пушкину отношение к слову.

"Тень Баркова" — не плод "юношеского цинизма, а "воспалительный состав" для старикашки. Кроме тошноты, все эти "нежные секельки стариц" у пылкого лицеиста могли вызвать лишь насмешку. (См. "Монаха" и "Городок".)

Но как же быть с анонимным рассказом кого-то из ветеранов лица? Не сам же Гаевский придумал эту историю о "Тени Кораблева", Пушкине, Вяземском и проч. Разумеется, не сам. И вряд ли с помощью Яковлева. Скорее, тут рука Модеста Корфа, того, что вернул Гаевскому рукопись, не оспорив этого эпизода. А не оспорил, потому что сам его и сочинил. Возможно, мы и ошибаемся в нашем предположении и лишний раз грешим на пушкинского соученика-недоброжелателя, но ни Корф, ни кто либо другой из лицеистов не могли слышать в десятые годы "Тени Баркова". Ибо написана баллада в середине тридцатых. Что мы и постараемся доказать в следующей главе.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК В ЗЕРКАЛЕ МАРКИЗОВОЙ ЛУЖИ

П.А.Ефремов довольно путано объяснял, почему он пришел к выводу, что "Тень Баркова" — не пушкинское сочинение. По его словам, убедил он и Гаевского, первого публикатора отрывков из поэмы.

Но был еще один человек, чье мнение, надо думать,

для обоих пушкинистов было весомо. Мы имеем в виду редактора того самого журнала, где напечатана статья Гаевского. Но напрасно станем мы искать некрасовский отзыв о "Тени Баркова". Его нет ни в воспоминаниях мемуаристов, ни в бумагах поэта. Правда, тот же М.Д. Эльзон, исследователь Некрасова, обратил мое внимание на небольшую и малознаменитую поэмку "Суд", написанную через четыре года после публикации в "Современнике" статьи Гаевского.

Первая же строка Некрасовым взята в кавычки:

"Однажды зимним вечерком"
Я перепуган был звонком...

М.Д. Эльзон совершенно прав: закавыченная строка — первый стих "Тени Баркова".

В начале поэмы Некрасов еще трижды цитирует стихи разных русских поэтов, но сам и дает сноску: Козлов, Лермонтов, Веневитинов. Ну скажите пожалуйста, зачем указывать читающей публике, что стих "Вечерний звон! Вечерний звон!" написал Козлов? Или кто-нибудь не знает?

Однако к закавыченной строке из "Тени Баркова" сноски нет. Читатель "Современника", помнящий сенсационную статью Гаевского, должен понять: Некрасов вовсе не уверен, что автор "Тени Баркова" — Пушкин. Цитата выделена, но автор не указан!

Такая форма полемики может показаться чересчур изысканной, но никакого другого объяснения мы не можем предложить читателю.

Речь в поэме совсем, казалось бы, о другом, но — вольно или невольно — размышления о "Тени Баркова" смутно влияют и на содержание. В контексте этой некрасовской думы совершенно неожиданно звучат стихи:

Своей статьи я не узнал.
Так пахарь был бы удивлен,
Когда бы рожь посеял он,
А уродилось бы зерно —
Ни рожь, ни греча, ни пшено, —
Ячмень колючий и притом
Наполовину с Дурманом!
.....
Уйдет один, другой придет,
И те же басенки поет.

Но еще более удивительно для нас было обнаружить, что в своей поэме Некрасов указывает один из источников "Тени Баркова":

Когда я отроком блуждал
По тихим волжским берегам,
"Суд в подземелье" я читал,
Жуковского поэму, — там,
Что стих, то ужас: темный свод,
Грозя обрушиться, гнетет;
Визжа, заржавленная дверь
Поет: "Не вырвешься теперь!" —
И ряд угрюмых клобуков
При бледном свете ночников,
Кивая, вторят ей в ответ:
"Преступнику спасенья нет!"

Некрасов ошибается: заточенный в монастырь преступник — это из "Тени Баркова", а в "Суде в подземелье" Жуковского живьем заточали в каменный тайник преступницу. При чем тоже за любодеяние.

Впечатление от поэмы Жуковского было столь сильным, что Некрасов в своем "Суде": "Потом, я помню, целый год // Во сне я видел этот свод".

"Суд в подземелье" опубликован в 1834 году. Скоро он произведет впечатление не только на отрока-Некрасова, но и, очевидно, на анонимного сочинителя, похабника и злого пересмешника, подсказав тому саму идею "Тени Баркова". Поэма Жуковского, написанная в 1831—1832 годах (точнее, переведенная, ибо перед нами вторая глава "Мармиона, рассказа о Флодденфильде" Вальтера Скотта), должна была привлечь внимание неизвестного стихомана ну хотя бы той же эротикой. Вот несколько строк из "Суда в подземелье":

И груди тайная краса
Мелькала ярко меж волос,
И девственный поймав покров
Ее заботилась рука,
А взор следил исподтишка,
Не любовался ль кто за ней
Заветной прелестью грудей.

Но не эротическая, а, скорее, эректическая поэзия удовлетворяла вкусам нашего импотента. И, сочиняя пародию на "Громобоя" того же Жуковского, он выворачивает наизнанку сюжет "Суда в подземелье": там за любодаяния монахиню кидают в каменный тайник и замуровывают, здесь ебливого монаха, пойманного так же в монастыре, блядь-игуменья грозит сделать кашлуном и кинуть в нужник.

Зеркальность ситуаций несомненна, но поклонники "Тени Баркова" могут возразить, что Пушкин-де, мог читать поэму и по-английски, еще в лицее.

Это значит, что нам придется разобраться, что и как в "Тени Баркова" пародирует ее автор.

Частью работа эта уже проделана до нас.

Пародиста-эротомана интересуют три автора. Во-первых, Иван Барков. Но, поскольку его оды сами по себе пародии на классические образцы, тут можно поживиться только словарем. Отсюда и черпает похабщину автор, от себя добавляя лишь слово "керч", не зафиксированное, кажется, никакими словарями. Наиболее последовательно творец похабной тени преследует Василия Жуковского. Тот явно не дает ему покоя своим творчеством, а, может быть, и самим фактом существования.

"Тень Баркова": "Скажи, что дьявол повелел." // – Надейся, не страшися. // "Увы, что мне дано в удел? // Что делать мне?" // – Дрочися!"

"Громобой" Жуковского: "Ах! что ж Могучий повелел?" // – Надейся и страшися. – // "Увы! какой нас ждет удел? // Что жребий их?" – Молися!"

"Тень Баркова": "Он пал, главу свою склонил // И плачет в нежной длани". Это пародия на плач Жуковского по сраженному на поле брани Кульневу: "Он пал – главу на щит склонил // И стиснул меч во длани".

Здесь, к слову, все замечательно и все штрих к тому же циничному портрету анонима-порнографа: так устроено его читательское восприятие, что любимую свою тему он способен разглядеть где угодно; само имя героя высекает из воспаленного его сознания скабрзную ассоциацию (Кульнев – Хульнев, Хуев), а слова "пал" и "склонил главу" вид все того же бессильного члена.

Необходимо добавить, что в "Руслане и Людмиле" Пушкин по-своему вспомнил те же строки Жуковского:

Взглянул, поник главою бранной —
И пал недвижимый, бездыханный.

Здесь, как видим, не пародия, а, скорее, след пушкинского восхищения строками поэтического его учителя. Есть вещи невозможные: трудно поверить, чтобы отрок, мучительно переживший со всей Россией 1812 год, превращал стон современника по убитому воину в похабщину, но еще труднее вообразить, что вскоре тот же сочинитель грубую свою пародию обратит в собственный плач по сраженному Руслану.

В том же бордельном духе автор "Тени Баркова" пародирует и многие другие строки Жуковского. Другой вопрос, что он передразнивает сознательно, а чем просто пользуется как готовым материалом для бессознательного перекраивания чужих, запомнившихся в силу своей неординарности стихов. (Но это уже область практически неисследованная, да и теоретически, вряд ли исследуемая: тут надо спрашивать самого автора стихов.)

Помимо "Громобоя" в тексте "Тени Баркова" обнаруживаются и явные следы знакомства с другой балладой Жуковского. Речь о "Вадиме", который вместе с "Громобоем" составляет поэтический диптих под общим названием "Двенадцать спящих дев". Проиллюстрируем наше сопоставление лишь несколькими примерами.

"ТБ" ("Тень Баркова"): "И вмиг исчез призрак ночной".
"В" ("Вадим"): "Вадим взглянул — призрак исчез".

"ТБ": "Душа в детине замерла". "В": "Душа в нем замирает".

"ТБ": "И солнце в сумрачную тень // Лучами водрузилось". "В": "Вдруг солнце в пламени лучей // На крае неба встало".

Можно продолжать и дальше. Но не стоило бы обращать внимания на подобную реминисцентную мелочь, когда б "Вадим" не был закончен Жуковским в 1817 году. Значит, если "Тень Баркова" творение Пушкина, то дату написания следует отодвинуть уже на послелицейский период его творчества. Но как же тогда быть с якобы "свидетельствами" о том, что Пушкин читал похабную балладу приятелям-лицеистам? Впрочем, можно и не отвечать на сей риторический вопрос, ибо у нас есть доказательства куда более позднего происхождения этой вещи.

Стихотворец, создавший "Тень Баркова" был знаком не только с творчеством Жуковского десятых годов, но и с пушкинским "Медным всадником", под коим, как известно, стоит дата — 1833 год.

Мы не решились бы на столь категорическое заявление, когда б обнаружили в "Петербургской повести" всего лишь пласт смутных реминисценций и заимствований. В конце концов, невозможно доказать первичность текста на основе простых сопоставлений, даже когда их не одно и не два. Поклонники "Тени Баркова" всегда смогут объяснить подобную ситуацию тем, что Пушкин у самого же себя заимствовал строки из юношеской баллады. И все же устроим небольшой смотр и хотя бы попытаемся показать переключку "лицейской баллады" и "Медного всадника".

"ТБ": "...Но вдруг остановился. // Он видит в ветхом сюртуке..." "МВ": "Что ж это?.. Он остановился /.../ Глядит... идет... еще глядит..." И ниже: "Одежда ветхая на нем..."

(Здесь и там эпитет "ветхий" встречается еще один раз. В "ТБ" ветхой названа кровля, а в "МВ" домишко Параша.)

"ТБ": "Купец уж лавку запирал..." "МВ": "Торгаш отважный, // Не унывая, открывал // Невою ограбленный подвал..." "ТБ": "И в скопищах торговли..." "МВ": "Товар запасливой торговли..."

"ТБ": "Увы, настал ужасный день // Уж утро пробудилось..." "МВ": "Редеет мгла ненастной ночи // И бледный день уж настаёт, // Ужасный день!..."

Но пропустим случайные заимствования и обратимся к тем случаям, когда эпигон претендует на роль пародиста.

"ТБ": "Всяк пуншу осушив бокал..." "МВ": "Шипенье пеннистых бокалов // И пунша пламень голубой". Здесь замечательна сама аллитерация. И хотя Цявловский к этой строке из "ТБ" приводит полстраницы пушкинских стихов о пунше, о поднятых и осушенных бокалах, все же среди них нет ни одной, где шипела бы и пенилась сама строка. Пушкин множество раз описывал и содвинутые чаши и, скажем, беспенную мерзлую струю, и шумную пену шампанского, но лишь в "МВ" описание подкрепил фонетическим изображением. Тут и попадаете автор "ТБ": пунш горит, а че шипит, так что аллитерация "пуншу осушив" избыточна, а потому нелепа. Подражатель, замороженный магией пушкинских строк из "петербургской повести", во-

истину слышал звон, да не знает, где он. Другое дело, если б Ебаков со товарищи в борделе пили шампанское... Эпигон остается эпигоном даже в шутовском колпаке пародиста.

А теперь процитируем всю четвертую строфу из "ТБ", но сделаем то, чего не сделал Цявловский: уберем стилистические нелепости, ориентируясь на варианты списка "Р":

Так иногда поэт Хвостов,
Обиженный природой,
Во тьме полуночных часов
Кряхтит над хладной одой;
Пред ним несчастное дитя —
И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное вертя,
Ломает стих упрямо, —
Так блядь трудилась над попом,
Но не было успеха,
Не становился хуй дыбом,
Как будто бы для смеха.

Вскользь заметим, что и приведя строфу по вариантам разных копий в относительный порядок, мы все равно не избавились ни от подрифмовочной пошлости последнего стиха, ни от невозможного оборота "звучное слово"... Хвостова. Это все равно, что стилистическая мощь Булгарина или дантовская сила Шаликова! Но, допустим, самый первый список баллады был сделан по памяти кем-то из лицейских, и этот эпитет был привнесен со стороны.

Верный своей мании анонимный автор настолько становится ее рабом, что, если прочитать внимательно, сравнивает невозможное: половой акт с ситуацией, когда половой акт не получается! ("Двадцать два!" — сказал бы карточный игрок Пушкин.) Кроме того: хотя Хвостов и был притчей во языцех, приписывать ему соображение собственного чада, — чересчур даже для сатирического портрета. Ибо буквальный смысл этих строк таков: поэт Хвостов "иногда" кряхтит, вворачивая "звучный" член (слово), ломая то, что принято ломать у дев в таких случаях, но дева эта (ода, его собственное "дитя") лежит уже хладная, то бишь мертвая.

Мы нисколько не пытаемся вчитать в эти строки что-ли-

бо в них не написанное. (Тут ни при чем даже контекст всей баллады, где только и делают, что оправдывают фамилию главного героя!) Именно таков смысл первой части этой строфы (или надо признать, что автор не хотел сказать того, что сказал). Но не слишком ли в таком случае много "несчастных" в этих стихах? И сам Хвостов, "обиженный природой", и дитя — тоже. Вновь 22... Откуда же автор "ТБ" взял тему, а к тому же и эпитеты?

"Граф Хвостов, // поэт, л ю б и м ы й н е б е с а м и, //
Уж пел бессмертными стихами // Н е с ч а с т ь е н е в с к и х б е р е г о в".

Эпигон понял умом иронию этих строк, но, поняв, не сумел почувствовать ее силы. Он занялся "переводом" пушкинской мысли и "поэт, любимый небесами" превратился в поэта, "обиженного природой", а "несчастье невских берегов" породило через две строки эпитет к "дитя". Кстати сказать, бездарный подражатель оказался все ж более тонким ценителем поэзии, чем великий критик Белинский, не сумевший ни почувствовать, ни понять пушкинской насмешки. Белинский всерьез уверял читателя, что Пушкин, видимо, не успел отделать поэму, поскольку восхваляет в этих стихах Хвостова, стихотворца бездарного и небесами вовсе не любимого.

Чтобы не утомлять читателя, мы лишь назовем другой пушкинский источник этого места: "Тень Фонвизина", где Хвостов в ночи "нанизывал на случай оду, // Как божий мученик кряхтел". Из контекста следует, что юный Пушкин тут вовсе не имел ввиду ничего эротического: "нанизывать оду" есть штамп, а кряхтят не только в любовных потугах. Но этими строками Пушкин и спровоцировал маньяка на пародию своих невинных строк, очевидно, надолго запавших в графоманову память как пример некоей неосознанной самим Пушкиным, но подмеченной эпигоном непристойности.

Третий пример, может быть, самый показательный:

"Надулся хуй, растет, растет, // Вздывается лениво... //
Он снова пал и не встает, // Смутился горделиво..."

Обратим внимание на последний, весьма странный эпитет: горделивое смущение — это как?

Вновь поищем разгадку в "Медном всаднике":

Прошло сто лет, и юный град
Полночных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...

Вот в чем дело! Вновь певец эрекции увидел свою любезную тему. В его мозгу любое невинное действие, любое слово перетолковывается в угоду все тому же: в данном случае жертвой оказался сам Петербург... А не возносись! Да еще при том "горделиво" и "пышно"...

Мы сознательно пропускаем полдюжины параллелей (пойрой дословных), где мы не можем доказать приоритета "Медного всадника" перед "Тенью Баркова". Но хватает и трех этих, ибо "творческий почерк" эпигона-пересмешника все тот же, какой мы знали и по примерам из Жуковского.

Пушкин раз заметил, что чрезмерная брезгливость обличает нечистоту воображения. Но эта же нечистота может реализовываться и в маниакальной жажде повторения одного и того же предмета. В данном случае это вполне определенный физиологический член, боевой дух коего должен постоянно понукаться "воспалительным составом" из весьма посредственных, эпигонских стихшков.

Не надо быть психопатологом, чтобы поставить диагноз: "Тень Баркова" написана не юношей, а "обиженным природой" старым развратником, крайне истощенным и искушенным импотентом, который ненавидит женщину и боготворит лишь собственный фаллос. Потому что юноше и в голову не придет петь мощь полового органа, доставляющего ему проблемы и неприятности прямо противоположного свойства, нежели старику. Юношу, пусть и "крайне развратного", тянет к женщине, а не (скажем помягче) к собственному пупу, ибо тот ассоциируется с нравственной мукой и стыдом, онанизмом, женской недоступностью, и сам по себе эротических ассоциаций не вызывает.

"Воспалительный состав" пылкому воображению лица Пушкина не требовался. Ему не надо было насиловать воображение. Ему хватало вида туфельки, локона или юбки, чтобы придти в весьма мучительное возбуждение. От прикосновения на балу к руке девы он раздувал губы и ноздри, как замечали его однокашники.

Стихотворения, подобные "Тени Баркова", несут эротическое содержание для иного возраста и иного читателя. И дейст-

вие "воспалительного состава" может оказываться столь сильным, что и умудренный пушкиновед забудет азы собственной профессии... И.Л.Фейнберг вспоминает рассказ Цявловского о том, что набирать и брошюровать "Тень Баркова" поручили глухонемым наборщикам — мужу и жене. "Что они уж делали друг с другом, начитавшись поэмы, — добавлял Цявловский, — не знаю".

Весьма красноречивое признание.

Добавим еще, что интерес к подобного рода сочинениям возникает в тоталитарные периоды общественного бытия, когда вся область личной свободы сокращается до размеров супружеской постели. Впрочем, об этом догадался еще Оруэлл.

В отличие от седовласых советских пушкинистов и "Красного графа" Алексея Толстого, к которому перед войной Цявловский с Андрониковым съездили на дачу читать "Тень Баркова", Пушкин был человеком свободным. Для сочинений в духе Баркова он еще в лицее нашел, может быть, единственное точное слово — "хуйня".

Это и имя, и оценка.

Нам осталось лишь определить время написания "Тени Баркова" и, может быть, назвать имя анонима.

Предупредим, что эти наши выводы не претендуют на абсолютность и категоричность.

В балладе Хвостов упомянут как живой и действующий стихотворец: "Так иногда поэт Хвостов, // Обиженный природой, //...кряхтит" и т. д. Несколько глаголов в настоящем времени говорят о том, что автор считает Хвостова не только своим современником, но и пиитом, способным одарить российскую публику новыми своими глупосями. Этим Хвостов и отличается, скажем, от Боброва, который уже умер, и о котором в балладе говорится в прошедшем времени.

Хвостов умер в 1835-м. Если наше наблюдение верно, то это крайний срок написания "баллады". Меж тем "Медный всадник" (1833) и "Суд в подземелье" (1832) резко обозначают нижнюю хронологическую границу. Более того, мы должны предположить, что анонимный автор был знаком с пушкинской "петербургской повестью" до ее посмертной публикации, то

есть он или читал список поэмы, или слышал чтение самого Пушкина. (Поэма Жуковского была издана в 1834 году, поэтому нам в данном случае безразлично, изустно или уже в "Библиотеке для чтения" познакомился с ней пародист.)

Итак, скорее всего, "Тень Баркова" сочинена в 1834 или в начале 1835 года, причем ее автор находится где-то поблизости от литературного круга Пушкина и Жуковского, он наизусть помнит баллады второго, он знаком с еще не опубликованной поэмой первого.

Кто же это?

Сам текст баллады, возможно, указывает на одного из стихотворцев круга "Арзамаса". Это Александр Федорович Воейков (1779–1839), журналист, издатель, поэт, автор скандальной поэмы "Дом сумасшедших", человек по отзывам современников беспринципный и растленный.

Мы не ставим задачу сравнивать стихотворные опыты Воейкова с "Тенью Баркова" (это тема отдельного исследования), заметим лишь, что поэтический уровень Воейкова никак не противоречит нашему предположению: язвительный дилетант, он во вкусах своих заостренел на поэзии десятых годов, его неряшливость (разумеется, стихотворная) и оскорбления в адрес самых талантливых поэтов начала XIX века были притчей во языцех.

Впрочем, читателю, который не знаком с "Домом Сумасшедших", возможно, будет любопытно познакомиться хотя бы с несколькими цитатами из это произведения.

Худ, мизерен, сплюснут с вида,
Сухощав душой своей...
Отвратительная гнида
С Аполлоновых мудей.

Это о поэте Владимире Карлгофе, ныне прочно и заслуженно забытом. Похоже на "Тень Баркова"?.. Похоже. И дело не в третьей и четвертой, а в первых строках: они написаны на уже известном нам по "ТБ" суконном языке дилетанта.

А вот о Дантесе:

Вот он – Пушкина убийца,
Легкомысленный француз,

Развращенный кровопийца,—
Огорчил Святую Русь.

(Каков глагол "огорчил"?)

Ну еще:

Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан; лапочки крестом...

И в той же строфе спеленутый саваном Жуковский "то кадит, то отпевает..." Как он это делает — совершенно не понятно (руки-то "скутаны"!)

О Козлове: "Слеп, без ног и без ума". (Это о действительно слепом и парализованном человеке.)

Появляются в поэме Хвостов, Шишков, Шихматов и Шаликов. Мелькает строка "Я велик, велик, велик!" (Вспомним, как Ебаков провозглашал на каждом углу "Велик Барков!" и только за это венчал его сам Феб.) Стих "А поэчке сей конец!" заставляет вспомнить последнюю строку "Тени Баркова": "...и здесь, друзья, // Окончилась (вариант: кончается) баллада". Да и в начале нечто, напоминающее первый стих "Тени Баркова": "Вечерком, простившись с вами, // В уголку сидел один..." Сравним: "Однажды зимним вечерком..."

Найдем мы и пародию стихов разных поэтов, и многое, что весьма близко к поэтике "Тени Баркова" (хотя сквернословие попадетя тут лишь однажды). Но в послании Воейкова Д.В. Дашкову находим фамилию "Мудишев" (или Мудаков?), и, конечно, тут же не можем не вспомнить о славном имени "Ебаков".

И все же — почему именно Воейков, видимо, и есть автор "Тени Баркова"?

"Тень Баркова", как помнит наш читатель, начинается строкой "Однажды зимним вечерком..." Это реминисценция первого стиха знаменитой баллады Василия Жуковского "Светлана": "Раз в крещенский вечерок..." Баллада была посвящена Александре Андреевне Протасовой как раз накануне ее свадьбы с Воейковым. Современники расценили это посвящение как пророчество Жуковского: Александра Андреевна и впрямь вышла замуж за "мертвеца", жизнь ее с Воейковым скоро стала сущим адом. Не помогло и заклинание поэта в последних строках "Светланы":

О, не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана...

Брак закончился ранней смертью "Светланы". Друзья считали, что Александру Андреевну в могилу свел Воейков.

Приведем две параллели. "Светлана": "Дверь шатнулася... скрипит... // Тихо растворилась..." "Тень Баркова": "Ах, вот скрипя шатнулася дверь...", и в другой строфе: "Дверь громко отворилась..." И еще. В "Светлане" мертвец "...на деву засверкал // Грозными очами". В "Тени Баркова" "честная" мать-игуменья (она же блядь) является, пылая "собачьим взором", но, увидев "грозного певца" и его мужские достоинства, "падает в грех", со страху обделывается и потом умирает. Другими словами, ситуация вывернута наизнанку: Мертвец побеждает Светлану и гордится своей победой.

Наиболее последовательно и цепко в "Тени Баркова" пародируется другое произведение Жуковского, посвященное той же А.А.Воейковой — "Громобой". Вместе с "Вадимом" эта баллада, как мы уже отмечали, входит в диптих "Двенадцать спящих дев". В "Вадиме" и в послании Жуковского "К Воейкову" (21 декабря 1814 года) есть редкое выражение "призрак исчез", которое мы встречаем и в "Тени Баркова".

Если наше предположение подтвердится, и удастся доказать, что автор порнобаллады, пародирующей Жуковского и Пушкина, это Александр Воейков, нетрудно представить и то, почему именно "Светлану" и "Громобоя" избрал этот стихотворец для своей пародии. Циник всегда склонен выворачивать наизнанку то, что недоступно его плоскому разумению.

Сальерианская ревность к высокому в жизни и поэзии — обычная мания вечно неудовлетворенных посредственностей.

1991



М.Л. Левин

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

1.

До войны физфак был куда меньше, чем теперь, и к началу второго семестра мы все, поступившие в 1938 году, более-менее перезнакомились друг с другом. А тут еще начал работать физический кружок нашего курса, куда ходили человек 20-25. В их числе и Андрей Сахаров, который сразу выделился неумением ясно и доходчиво излагать свои соображения. Его рефераты никогда не сводились к пересказу рекомендованной литературы и по форме напоминали крупноблочную конструкцию, причем в логических связях между отдельными блоками были опущены промежуточные доказательства. Он в них не нуждался, но слушателям от этого не было легче. Один из таких рефератов (об оптической теореме Клаузиуса) был настолько глубок и темен, что руководителю нашего курса — С.Г. Калашникову — пришлось потом переизлагать весь материал заново.

Мне кажется, что Андрей искренне не осознавал этой своей особенности довольно долго. На учебных отметках она практически не отражалась, ибо глубина и обстоятельность его знаний все равно выпирали наружу. Но зато из-за нее он абсолютно не котировался у наших девочек во время предэкзаменационной горячки, когда другие мальчики вовсю натаскивали своих однокурсниц. Правда, был особый случай. Одна из

наших девочек по уши влюбилась в молодого доцента-математика. Ей было мало его лекций и семинарских занятий, и она стала ходить на предусмотренные учебным регламентом еженедельные консультации, которые, естественно, (в середине семестра!) никем не посещались. Загодя она разживалась "умными вопросами", и, когда подошла очередь Андрея, он придумал ей такой тонкий и нетривиальный вопрос, что консультация, вместо обычных 15-20 минут, растянулась на радость нашей Кате — часа на полтора.

Сам Андрей вгрызлся в науку (физику и математику) с необычайным упорством, копал глубоко, всегда стремясь дойти до дна, а все узнанное отлагалось в нем прочно и надолго. На втором курсе я делал в кружке доклад о "цепочке Лагранжа" — бесконечной эквидистантной веренице упруго связанных точечных масс. Почти год спустя на лекции по "урматфизу" нас бегло познакомили со специальными функциями. И дня через два Андрей с тетрадным листком в руке подошел ко мне:

— Смотри, если в уравнениях для цепочки Лагранжа $\ddot{x}_n = \sigma^2(x_{n+1} + x_{n-1} - 2x_n)$ перейти к новым переменным $z_{2N+1} = \sigma(x_{2N} - x_{2N-1})$, $z_{2N} = \dot{x}_{2N}$ то все z_k — четные и нечетные — будут удовлетворять одному и тому же уравнению $\dot{z}_k = \sigma(z_{k-1} - z_{k+1})$, совпадающему с формулой для производной функции Бесселя. Ты тогда рассматривал только гармонические по времени колебания. А с помощью бесселевых функций можно, выходит, решить и начальную задачу для цепочки Лагранжа.

Сейчас я, конечно, плохо помню, что рассказывалось на кружке, но он сыграл определяющую роль в наших отношениях с Андреем. Дело в том, что мы учились в разных группах и в обычные дни мало встречались. А кружок начинался ближе к вечеру, и после окончания заседания все расходились по домам. Андрей и я жили неподалеку друг от друга (он — в Гранатном переулке, я — у Никитских ворот), так что нередко шли вместе пешком от Моховой до "Тимирязева", иногда прихватывая бульвар или кусок Спиридоньевки. И довольно скоро в тогдашних наших разговорах прорезалась тема, линия которой пунктирно протянулась на пятьдесят лет. Началась эта линия так. С.Г.Калашников, опытный педагог, предложил перечень докладов, имевший целью углубление и расширение лекционного курса. Нам же хотелось поскорее ворваться в новую физику — теорию относительности и квантовую механику. Ка-

лашников, ссылаясь на Эренфеста, втолковывал нам, что и Эйнштейн, и Бор любили и до тонкостей знали классическую физику и именно поэтому осознали вынужденную необходимость отказаться от нее. Понимание новой физики не сводится к правилам и формулам, ее надо выстрадать и пережить, как говорил Ландау. Ворча про себя, мы покорились. По дороге домой Андрей сказал:

Сергей Григорьевич прав. Не надо уподобляться Сальери.

— При чем тут Сальери?

— Вспомни:

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Нельзя бросать, а потом бодро и безропотно следовать. Разрыв со старым должен быть мучительным.

Не будь этого случая, Пушкин все равно возник бы в наших разговорах. Еще не сошла на нет огромная волна пушкинского юбилея 1937-го года. Печатался по кускам роман Тынянова, переиздали Вересаева, шел спектакль, в котором Пушкин говорил стихами Андрея Глобы; в другом спектакле пушкинский текст был подправлен Луговским. Зощенко написал шестую повесть Белкина "Талисман". Все это занимало нас. В сборнике стихов, сочиненных учениками Антокольского, Андрей напоролся на обращение:

Ты долго ждал, чтоб сделаться счастливым...
Теперь сосредоточены, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают твои стихи.

Четверть века спустя он вспомнил это четверостишие:

— Драгоценное свидетельство современника, как сказал бы Пушкин. А ведь действительно в тот страшный год всюду

проходили и такие активы. Единственные в своем роде — после них в с е участники расходились по домам.

В другом стихотворении описывалось, как Наталья Николаевна укатила во дворец на бал, а Пушкин остался дома поработать. Но ему не пишется, одолевают ревнивые мысли:

Сейчас идешь ты, снегу белей,
Гостиною голубой.
И светская стая лихих кобелей
Смыкается за тобой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей. — Как мог Антокольский включить такое? И неужели он не знает, что жена камер-юнкера не могла быть на придворном балу без мужа?

Сам Андрей в свои 18 лет это хорошо знал. Он не просто читал и перечитывал Пушкина, он как-то изнутри вжил в то время. Много лет спустя он сказал мне, что кусок русской истории от Павла I и до "души моей" Павла Вяземского существует для него в лицах. Но и 18-й век Андрей знал очень хорошо. Когда в 1940 году МГУ получил новое имя (мы поступали в "имени М.Н.Покровского"), Андрей сказал сразу, что основателем и куратором университета был граф И.И.Шувалов, хотя первоначальная идея шла, конечно, от Ломоносова.

Тогдашние суждения Андрея о Пушкине запомнились мне своею независимостью и нестандартностью. Он, например, категорически не соглашался с расширительным толкованием строк:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа, —

вырванных из реального контекста стихотворения, написанного в 1818 году. Эти две строки переключивались из одной юбилейной публикации в другую, а в наше время вышли уже в названия статей и книг, не говоря о миллионах школьных сочинений. Почему Пушкин, гордящийся 600-летним дворянством и столь щепетильный в вопросах чести, декларирует свою неподкупность? Откуда у 19-летнего юноши самоуверенная претензия быть эхом народа? На самом деле все объясняется просто. Стихотворение было написано в честь императрицы Елисаветы

Алексеевны. Произведения подобного жанра обычно вознаграждались (скажем, табакерками с алмазами). Поэтому Пушкин сразу отмечает такое оскорбительное предположение. Любовь народа к царствующим особам была общим местом мировоззрения того времени, и эту народную традицию отражает (эхо!) голос ни на что не претендующего молодого поэта. И нечего притягивать сюда замыслы будущих декабристов отдать Елисавете трон ее мужа.

Точно так же Андрей относился к рассуждениям о том, что заключительная ремарка "Бориса Годунова" передает навеянный сочинениями декабристов взгляд Пушкина на глубинные совесть и нравственные устои народа. В законченном накануне восстания и принятом с восторгом в Москве 26-го года "Борисе" народ не безмолствовал, а кричал: "Да здравствует царь Дмитрий Иванович!" Такими были тогда взгляды Пушкина, и к такому финалу вели законы трагедии, которым он учился у "гениального мужичка" Шекспира. А безмолвствие появилось лишь в белой рукописи 30-го года, представленной цензору.

Кстати, много лет спустя по случаю очередного некруглого юбилея в газете напечатали "Слово о Пушкине", произнесенное одним из литературных генералов. И там были слова о народном осуждении убийства д е т е й Бориса. Андрей засек этот ляп и с горечью сказал:

— Ну ладно, он может и не знать, что Ксения досталась на потеху Самозванцу. Но почему он не дал себе труда прочитать пушкинские тексты, мыслями о которых счел нужным поделиться?

В "Юбилейном" Маяковского, которое тогда было у всех на слуху, Андрей с ехидством отметил, что предрекаемая Дантесу участь никак не связана с убийством Пушкина, а опирается только на происхождение (Ваши кто родители) и занятия до 17-го года. По этим правилам отбора и Пушкина с Лермонтовым мы тоже "только бы и видели". И тут он вдруг добавил, что мальчиком долго не мог преодолеть барьер имени, начиная и бросая читать "Графа Монте-Кристо".

Неожиданной для меня оказалась его неприязнь, переходящая в ненависть, к Динзасу. Как тот мог допустить?! Бывшие в то время в ходу объяснения и оправдания — доверие Пушкина, нехватка времени, дворянские понятия о дуэльной чести — Андрей отметал с порога:

— Иван Пушкин был человек чести, а он уверенно писал, что не допустил бы дуэли. И особого ума тут не требуется. На Черной Речке лежал глубокий снег. Данзас должен был подать Пушкину заряженный пистолет со взведенным курком. И тут он мог оступиться, падая, "нечаянно" спустить курок и ранить самого себя (в ляжку, а не в бок!). При кровоточащем секунданте дуэли быть не может, д'Аршиак бы не согласился. Поединок откладывается, потом друзья успевают вмешаться...*

Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном литературном событии того времени. В школе мы проходили "Сказки" Салтыкова-Щедрина и "Пошехонскую старину". Сверх того читали, конечно, "Помпадуров" и "Историю одного города". Но вот где-то на третьем курсе наш однокурник и мой близкий друг Кот Туманов открыл "Современную идиллию". Читая ее каждый у себя дома, мы целую неделю обменивались в университете находками. Андрей гордился тем, что первым нашел в росписи расхдов менялы Парамонова пятиалтынный "на памятник Пушкину" и большие тысячи "в квартал на потреотизм..." Лет двадцать тому назад, уже во времена опалы, мы смотрели телевизионное выступление некоего седовласого ученого мужа, несшего высокопарную ахинею. Андрей, тщательно выговаривая фонемы, сказал:

— Сумлеваюсь, штоп сей старик наказание шпицрутенами выдержал, — и был доволен, когда я сразу подхватил:

— Фтом же сумлеваюсь.

Еще раз он вспомнил "современную идиллию", прочитав "Зияющие высоты" А. Зиновьева. К сожалению, сделанное им тогда тонкое замечание полностью может быть оценено только физиками. Он сказал, что "Зияющие высоты" обладают свойствами пластинки с голограммой и в этом (но не только в этом!) схожи с "Современной идиллией". Кусок в 30-40 страниц обеих книг дает хоть и бледноватую, но полную картину замысла и средств автора, а дальнейшее чтение лишь делает эту картину более четкой и яркой.

• • •

* "Базовые" люди всегда отмсчали редкое сочетание в Сахарове таланта физика-теоретика с гениальностью инженера-конструктора. Программа действия для Данзаса свидетельствует, что конструктивные решения были свойственны Андрею задолго до "базы".

Однокурсников Сахарова часто спрашивают о его общественно-политических взглядах довоенных времен. В моей памяти сохранились только две истории, имеющие сюда отношение.

Главный инженер МГУ подрядил студента нашего курса Стасика Попеля выкопать большую яму на заднем дворе, а когда работа была кончена, отказался заплатить обещанные деньги (уговор был устный), утверждая, что яма рылась в порядке общественной нагрузки. Долгое препирательство кончилось тем, что Стасик врезал ему по морде. После этого деньги были сразу отданы, но инженер накатал телегу в партком, напирая на политическую окраску и разрыв в связи поколений строителей коммунизма: комсомолец избил и ограбил члена ВКП (б). Дело разбиралось на факультетском комсомольском собрании. Вузком настаивал на исключении, после чего, разумеется, автоматически следовало отчисление из студентов. Старшекурсники и аспиранты, пережившие собрания 37-го года, поддерживали вузком. Мы же отбивали Стаса, казуистически доказывая, что была пощечина, а не мордобой. Андрей очень переживал эту историю и, сидя в коридоре (он не был комсомольцем), расспрашивал выходящих покурить о ходе судилища. Еще перед началом собрания он предупредил об уязвимости нашей линии защиты: отрыв яму, Стасик настолько заматерел, что пощечина по намерению вполне могла оказаться мордобоем в исполнении. Но все кончилось благополучно. Стасик отделался строгачом с предупреждением, и больше всех радовался Андрей, поздравляя Кота Туманова и меня с тем, что нам удалось оттянуть часть наказания на себя (нам обоим вlepили какой-то мелкий выговор за безобразное поведение на собрании).

... Летом 86-го года в первый час нашей встречи, когда мы укрывались от морозящего дождика под навесом почтового отделения в Щербинках и разговор был рваным и скачущим, Андрей засунул руку в карман моего плаща. Я крепко сжал его замёрзшие пальцы и неожиданно для самого себя спросил:

— Что ты чувствовал после того как врезал Яковлеву?

Андрей ответил коротко:

— Знаешь, я вспомнил Стасика Попеля.

В физпрактикуме работал ассистент Туровский, резко отличавшийся от своих коллег непонятной робостью. Если по коридору шла навстречу ему ватага студентов, Туровский прижи-

мался к стенке. Задачи практикума, даже явно сляпанные на халтуру, он всегда принимал с первого раза и всячески избегал и тени возможного конфликта со студентами. Кто-то из них однажды повел себя слишком нагло, вышла тягостная сцена, а потом Андрей со слов своего отца рассказал мне о тайне Туровского. Его родители были Троицкие, после революции эту поповскую фамилию поспешили сменить на "Троцкий", а десять лет спустя с еще большей поспешностью ее переменяли на нейтральную "Туровский". И теперь он больше всего боится любых событий и обстоятельств, могущих потревожить в отделе кадров его личное дело, содержащее графу об изменении фамилии. По этой причине он, кажется, и не пытался защитить диссертацию.

— Только ты никому не говори об этом. Не дай Бог оказаться камешком, породившим страшную лавину.

Я и не говорил все пятьдесят лет. Но теперь об этом можно рассказать.

В том, что наши разговоры происходили, как правило, на ходу, не было ничего удивительного. В довоенной Москве, с ее коммунальными квартирами, и товарищество, и долголетняя дружба завязывались и развивались во дворах и в переулках. За три года студенческой жизни я всего несколько раз забегал на Гранатный взять или отдать книгу из домашней научной библиотеки отца Андрея, и из всего, сказанного мимоходом Дмитрием Ивановичем, запомнил только одно, поразившее меня сообщение: во двор моего дома, оказывается, выходили окна квартиры О.Н.Цубербиллер — составительницы знаменитого математического задачника! И Андрей тоже несколько раз заходил ко мне — у нас было довольно много книг о декабристах, в частности, успевшие выйти до разгрома "школы Покровского" первые тома Следственного Дела... В сентябре 1968 года Андрей попросил меня рассказать о Вадиме Делоне и Павле Литвинове, которых я знал с их малолетства. Когда-то Вадим подарил мне тетрадочку своих стихов. В нее был вложен листок с текстом будущего знаменитого шлягера "Поручик Голицын". С орфографией у Вадима всегда были расхождения, и Андрей сразу же споткнулся на "корнет Абаленский". Потом сказал, что ведь некоторые декабристы, да и сам князь Оболенский в собственноручных ответах на вопросы Следственной Комиссии, тоже писали кто — Аболенский, кто — Обаленский, а

кто совсем как у Вадима. А Бестужев-Рюмин вообще просил разрешения писать ответы по-французски. То был век богатей, слабых в русской грамоте.

И тут он вдруг взял несколькими октавами выше:

— Знаешь, я ведь имел дело и с генералами, и с маршалом. Все они жидковаты в сравнении с Алексей Петровичем Ермоловым. В сношениях с начальством застенчивы.

Андрею очень нравился этот ермоловский оборот, и он не раз метил им своих коллег по Академии наук. Например, после появления знаменитой статьи 11-прим Уголовного кодекса.

В моем рассказе о студенческих годах Андрея Сахарова пропорции, конечно, не соблюдены. О физике и математике речь, разумеется, шла чаще, чем о Пушкине. Но разговоры о науке относились к ее учебно-методической стороне (за три года мы не дошли даже до классической электродинамики) и поэтому плохо удержались в памяти.

II.

Война и судьба развели нас на пятнадцать лет. Встретились снова среди деревьев большого двора, окаймленного жилыми домами ЛИПАНа на 2-м Шукинском. Андрей быстро заметил, что мне мешает тактичное присутствие "секретаря", и повел к себе домой знакомить с женой и дочками. Тут разговор пошел вольный, вольнее даже, чем в былые времена, но Андрей больше спрашивал, чем рассказывал сам. Сказал только:

— Теперь я и академик и герой. Такой герой, что о мореплавателе не может быть и речи.

И действительно, за морем он побывал лишь три десятка лет спустя. А данный им обет молчания свято исполнял до последнего дня жизни. И все, что я знаю о подводной части научного айсберга "Сахаров", имеет источником общефизический фон, начало которому положили слухи, возникшие сразу же после академических выборов 1953 года.

Андрей сказал, правда, что все последние годы он по горло в неотложных текущих делах, так что нет ни времени, ни сил на чистую теоретическую физику. А там есть чем заняться. Обнаружив мое дремучее невежество (в Тюмени не было никаких физических журналов, кроме "Физика в школе" и разрозненных тетрадей УФН), он объяснил мне сложное и запутанное

положение вещей, существовавшее тогда, то есть до знаменитой работы Ли и Янга. Уже в середине этого объяснения, происходившего за чайным столом, я внезапно осознал, что манера изложения Андрея не имеет ничего общего с той старой, довоенной. Все было логично, последовательно, систематично, без столь характерных для молодого Сахарова спонтанных скачков мысли. Я подивился вслух такой перемене.

— Жизнь заставила, — ответил Андрей. — Чтобы добиться того, что я хотел, надо было многое объяснить и нашему брату физику, и исполнителям всех мастей, и, может быть, самое трудное, генералам разных войск. Пришлось научиться.

— В Ульяновске он этому еще не научился, — вмешалась Клава, — Он ведь предложил мне руку и сердце не на словах, а в письменном виде. Не от робости или застенчивости, а чтобы я все правильно поняла. Может быть, я единственная женщина в России, которой во время войны сделали предложение совсем как в старинных романах!

Потом Андрей подробно расспрашивал о Тобольске и Ялуторовске — декабристских городах Тюменской области. И по-своему, как будто только вчера об этом узнал, огорчился из-за пушкинского "неразлучные понятия жида и шпиона" в дневниковой записи о встрече с Кюхельбекером.

— Слава Богу, это писано им только для себя. Это подкорка той эпохи, а не его светлый ум! Да и слово "шпион" звучало тогда иначе. Как у Фенимора Купера.

На моей памяти Андрей неоднократно возвращался к "черному пятну" (его слова) в дневнике Пушкина. Последний раз во время анти-Синявской кампании, раздутой Шафаревичем:

— Игорь Ростиславович и его журнальные друзья и единомышленники, видимо, давно не брали в руки Пушкина. А может быть, и вообще прочли только какой-нибудь однотомник. А то бы они не упустили возможности пойти с такого козыря.

Андрей был очень опечален деградацией И.Р. Шафаревича. Когда раскрылось авторство первоначально анонимной "Русофобии", я сочинил ехидные стишки. Прочитав их, Андрей сказал:

— Тебе что, у тебя с ним шапочное знакомство. А мне обидно и противно... "Он между нами жил..."

Публицистические страсти, в которых оба лагеря "пушки-

новедев” размахивали как хоругвями каждый своим Пушкиным, вызывали у него грустную усмешку. Опять вырванные из реалий писем 1836-го года цитаты. Одни повторяют: “черт догадал меня родиться в России с душою и талантом”, не прочитавши начала предложения, говорящего о тяготах ремесла журналиста. Другие напирают на “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...”, забыв, что письмо Чаадаеву могло, по расчетам Пушкина, пройти через перлюстраторов, а может быть, даже — не дай Бог! — попасть в руки жандармов. Так что в нем многое не сказано. Но никто не вспомнил про письмо Вяземскому 1826-го года, посланное незадолго до казни декабристов. А в нем: “Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?”

Сейчас передо мной томик Пушкина, а тогда Андрей наизусть проговаривал почти половину письма, вплоть до “удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница”. И добавил, что это письмо ведь читали все, охочие до подробностей интимной биографии Пушкина: в нем конец так называемой “крепостной любви”. Или им остальное неинтересно?

А вот как читал пушкинский текст сам Сахаров. В конце 69-го года, когда Клавы уже не было в живых, я зашел к Андрею на Шукинский. При мне был недавно изданный том откомментированной пушкинской переписки 1834-37 годов с закладкой на письме графу Толю, посланному за день до дуэли. Мои умствования, связанные с этим письмом, заинтересовали Андрея, и он внимательно прочитал его. Потом стал листать страницы и вдруг спросил:

— А ты заметил, что все январские письма этого и предыдущих годов Пушкин датирует “январем” и только в письме к Толю стоит “генварь”? Я уверен, что письме Толя, на которое отвечал Пушкин, тоже стоит “генварь”. Ведь генерал Толь учил-ся русской орфографии у военных писарей!

Дома я заглянул в 16-й том Большого Академического собрания, содержащего и письма к Пушкину. Толь действительно писал “генварь”, а в ответе Пушкина первоначальное “январь” переправлено на “генварь”. Андрей был очень доволен, когда я сообщил ему это по телефону. Мне кажется, что у

него вообще был повышенный интерес к слову как к кирпичику мысли, к поворотам смысла, связанным с игрою слов. Он был в восторге от набоковской находки: старый анекдот о двойной опечатке в газетном описании коронации (корона-ворона-корова) может быть один к одному переведен на английский язык (crown-crow-cow). Как-то в разговоре на тему "может ли машина мыслить?" Андрей заметил, что она может острить методом отсечения. Например, в четверостишии Веры Инбер времен НЭПа "Как это ни странно, но вобла была, / И даже довольно долго, / Живою рыбой, которая плыла / Вниз по матушке-Волге" отсечение двух последних строк дает ехидно-ностальгическую сентенцию нашего времени. Когда я безо всякой ЭВМ вырвал из Некрасовской "Кому на Руси..." кусок

...Поверишь ли? Вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют!

он позавидовал моей находке и сказал, что короли эпитафия — Вальтер Скотт и Пушкин купили бы эти строки за большие деньги, привелось им писать о 37-ом годе. А потом добавил, что у Некрасова есть эпитафия к сочинениям о Дубне и других оази-сах науки: "А под ногами-то косточки русские..."

Другой раз Андрей попросил рассказать о детской группе, в которой моя дочь занималась живописью. Услышав фамилию одного из мальчиков — Алеша Ханютин, он прервал меня на полуслове:

— Если бы нынешние драматурги давали, как это делалось в 18-м веке, смысловые имена, то герой-физик получил бы как раз такую фамилию*.

Сразу же после появления письма сорока действительных членов АН я сочинил поэмку "Сорокоуд". В ней было куда больше злости, чем таланта, и Андрею, как мне показалось, понравилось только примечание к названию: в допетровской Рос-

* В формуле для энергии фотона $E = h\nu$ Андрей произносил постоянную Планка на немецкий лад. Думаю, что это у него было от отца, получившего образование еще до первой мировой войны, когда международным языком физиков был немецкий. Л.И.Мандельштам тоже говорил "ха"...

сии "сорок" — единица счета "мягкой рухляди" (меха), а "уд" — член. Отдавая Андрею тетрадку с "Сорокоудом", я похвастался открытием: на листке календаря от 29 августа 1973 года отмечена юбилейная дата Ульриха фон Гуттена, одного из авторов "Писем темных людей". Обычно Андрей подсмеивался над моей любовью к совпадениям подобного рода*, но тут он сказал:

— Странные бывают сближения... А ты когда-нибудь задумывался, почему Пушкин, узнав о смерти Александра I в Таганроге, вдруг стал перечитывать "слабую поэму Шекспира"? Не хроники и не трагедии, где столько королей теряют короны и головы, а "Лукрецию". Потому что в них один король сменяет другого. А "Лукреция" о конце царства и начале республиканского правления. Пушкин хранил черновики, а вот от "Графа Нулина" их не осталось... Это неспроста.

Кстати, о "Графе Нулине". Андрей довольно равнодушно относился к актерскому чтению пушкинских стихов. Еще до войны он жаловался, что Качалов испортил ему "Вакхическую песнь". А вот "Нулина" в исполнении Сергей Юрского с озорным жестом в стихе "Стоит Параша перед ней" он вспоминал с удовольствием. В последние же годы ему очень нравилась Алла Демидова в телевизионной "Пиковой Даме". Раньше он считал, что рассказчик в "Пиковой Даме" обязательно должен быть мужчиной... Как читал стихи сам Сахаров? К счастью, я могу ответить на этот вопрос просто и коротко: очень похоже на то, как читает С.С.Аверинцев. Смысл и форма, без каких-либо фиоритур и педалирования. В молодости круг поэтического чтения Андрея определялся домашней библиотекой Дмитрия Ивановича. Во всяком случае, до войны ни Андрей, ни я не знали ни одного стихотворения Осипа Манделъштама. Новая поэзия его не занимала и, как мне кажется, пришла к нему только после женитьбы на Люсе. Но и тогда при упоминании того или иного имени Андрей обычно говорил:

— Это не по моей части. Вот Люся, она все знает.

Пушкин же всегда был совсем особая статья. Не кладо-

* Впрочем, его позабавил в марте 1980 года мой рассказ о статье к юбилею нижегородской ссылки Короленко, напечатанной в горьковской газете как раз 22 января 1980 года. А семь лет спустя я порадовал его Указом о награждении Толстикова орденом, опубликованным сразу после присуждения Бродскому Нобелевской премии.

вая памяти и не печка, к которой ему нравилось пританцовывать. Иногда у меня возникало ощущение, что, кроме реального пространства-времени, в котором мы жили, Андрей имел под боком еще один экземпляр, сдвинутый по времени на полтора года, где как раз и обитает Пушкин со своим окружением. И мне повезло, что еще в молодости Андрей впустил меня в этот свой укрытый от посторонних мир... В Горьком, после рассказа Андрея о злоключениях Бори (Бориса Львовича) Альтшулера, я мимоходом заметил:

— АДС своею кровью начертал он на щите.

И Андрей тут же откликнулся:

— Знаешь, когда я был мальчишкой, папа дразнил меня: "АСП своею кровью начертал ты на щите!"

После случайного разговора о стихотворении Твардовского на смерть Сталина:

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползет на грудь...

Андрей, пожалев, что слишком долго жил с моделью "царь-батюшка добрый, а министры — злые", спросил, когда у меня появился надлом в отношении к Сталину:

— В 44-м на Лубянке или в 48-м, когда арестовали твою маму?

— В 37-ом.

— Неужели ты тогда был умнее Эренбурга и Симонова?* Или из-за расстрелянных полководцев гражданской?

Я объяснил, что ум и маршалы тут ни при чем. В 37-м погибла подруга моей мамы Ата Лихачева, женщина поразительной красоты и колдовского обаяния. И я в свои 16 лет, сам того не понимая (старше меня на 20 лет!), был безумно влюблен в нее. Помолчав, Андрей сказал:

— Как Пушкин в Катерину Андреевну... (Карамзину).

* При первой нашей встрече в 56-м году Андрей спросил, заметил ли я симоновский фортель на 150-летнем юбилее Пушкина. Чтобы не прогневить Сталина, Симонов, декламируя "Памятник", опустил "...друг степей калмык".

По-моему, это был наш первый и последний разговор "про любовь".

При всей внешней сдержанности Андрея его влюбленность в Люсю всегда выбивалась наружу. В начале семидесятых я случайно встретился с ними в Тбилиси. Побродили по городу, посидели в духане, а поздно вечером, уже в гостинице, я рассказал, как года за три до войны меня познакомили с Севой Багрицким, и возникла хрупкая, отрешенная от реальной жизни дружба. Мы шатались по московским переулкам, читали друг другу стихи (Севка иногда свои) и — совсем как Верлен! — заказывали в питейных подвалах за отсутствием абсента по стаканчику Шато-Икема. И я узнал про ленинградскую девочку Люсю, раз в месяц приезжавшую в Москву делать тюремные передачи. Показав ее фотографию, Севка пожаловался, что у него гибнет стихотворение: он придумал великолепную рифму *ragole d'honneur* — Боннёр, но Люся наверняка не примет переноса ударения.

— Поэтам это разрешается, — утешил я. — В прошлом веке рифмовали Байрон.

— Одно дело Байрон, другое — моя Люся! — ответил Севка.

Пошли воспоминания о довоенных годах. Потом Андрей сказал:

— Теперь в тебе я могу быть уверен. В отличие от многих ты не ошибешься, произнося фамилию моей жены.

И вдруг добавил:

— Как жаль, что ты не рассказал мне про Севу еще тогда, где-нибудь на Спиридоньевке. И я узнал бы о тебе — это уже к Люсе — на тридцать лет раньше.

Столь свойственное Андрею высокое остроумие ломоносовского толка ("сближение далековатых понятий") поражало меня и в разговорах около физики. Не мне писать о научных достижениях Сахарова, тем более вряд ли кому интересно, что и как я понял в его объяснениях и рассказах. Поэтому ограничусь парой общедоступных примеров. Когда американцы долетели до Луны, Андрей сказал:

— Наконец-то Н » R. А то было лишь соревнование титулов: астронавты, космонавты! Как "чемпионы мира" по французской борьбе в старом провинциальном цирке. Астро-звезды, космос, колумбы Вселенной... Это при Н « R! В 15-м веке было без бахвальства... Если L « R, то каботажное плавание, а

вот у Колумба действительно $L \sim R$ (Здесь R — радиус Земли, H — высота, L — расстояние до материка).

Весною 1971 года (сужу по автореферату) мы оба были оппонентами на защите докторской диссертации. Произошла какая-то задержка, и в ожидании начала мы болтали, сидя на подоконнике в широком коридоре МИФИ. А МИФИ — базовый институт Средмаша, так что добрая половина проходивших мимо нас профессоров и доцентов были совместителями и — хотя бы в лицо — знали Сахарова. Одни проходили, устремив взгляд строго вперед, другие — прижимаясь к дверям на противоположной стороне коридора, третьи (редкие) отклонялись в нашу сторону и здоровались с Андреем, кто за руку, кто кивком, а кто лишь движением глаз. Потом он заметил:

— Можно оценить не только знак и величину заряда, но и отношение e/m ...

Диссертант нервничал, опасаясь срыва защиты, и Андрей стал его успокаивать:

— Все будет в порядке. Чтобы отвлечься, попробуйте решить задачку. Я ее придумал для нового издания задачника моего отца. Что будет происходить с цистерной при вытекании жидкости?

И нарисовал на чистом листе тетрадки с моим отзывом цистерну с дыркой в дне, но не посередине, а ближе к торцовой стенке. Слегка обалдевший диссертант убежал, не поняв, как мне кажется, о чем вообще идет речь, а Андрей сказал, что этой цистерной он уже загонял в тупик некоторых своих академических коллег, специалистов в области административной физики.

— Так какого черта ты дал ему задачу на засыпку?

— Ну, он же хороший физик. Я ведь прочитал его диссертацию.

Андрей всю жизнь любил придумывать задачи и испытывать на них собеседников. В этом было что-то от переписки ученых 18-го века с их брахистохронами и цепными линиями. Однажды Люся позвала нас с женой на пироги, и Андрей похвастался, что, когда он рубил сечкой капусту для начинки, ему пришла в голову прекрасная задача о предельном значении среднего числа углов. (Она приведена в юбилейном сборнике, посвященном его 60-летию...)

Слово "однажды" надо здесь понимать в самом прямом

смысле. За четверть века между XX съездом и началом афганской войны я был дома у Андрея считанное число раз, а он у меня и того меньше. Уже повсеместно господствовала культура кухонных посиделок, и мы оба по отдельности принадлежали этой культуре (см. стихотворение В.Корнилова про вечера на кухне у Андрея Дмитрича), но наше прикрытие оставалось улочным. Когда в Москве только-только появились привезенные из-за бугра "Прогулки с Пушкиным", Сахаров заметил, что так можно было бы назвать наши студенческие хождения от Манежа до Бульварного кольца. Поэтому я позволил себе украсть у Синявского название. Надеюсь, что Андрей Донатович простит мне это.

III.

В марте 1980 года в Горьком проходила конференция по нелинейной динамике. По старой памяти организаторы пригласили и меня, и я поехал в надежде навестить Андрея. За два месяца, прошедшие с начала горьковского пленения, развеялись все иллюзии, первоначально созданные казенными источниками. Изоляция была полной: дверь квартиры охранялась милиционером, а контакты вне стен дома (в том числе и научные) подпадали под некий негласный, но высочайший запрет, которому без сопротивления покорствовались все тамошние ученые. Время же фиановских командировок к опальному старшему научному сотруднику теоретдела еще не наступило. А самостоятельных визитеров "фирма" перехватывала и отправляла назад, в Москву.

План мой был прост и бесхитроуствен. Мы должны были случайно встретиться у киоска "Союзпечати", в вестибюле Дома связи, что напротив мухинского памятника молодому Горькому. Там же находился и переговорный зал междугородного телефона, откуда Сахаровым иногда удавалось поговорить с Москвой (домашнего телефона, как известно, не было). Так что поход Андрея на телеграф не нуждался в наружном сопровождении. Моя партия не уступала в естественности: где еще есть столько открыток с видами города для моего младшего сына? Все это я передал Люсе, которая тогда еще могла совершать челночные наезды в Москву. И единственная принятая предосторожность состояла в том, что я никому не похвастался своими намерениями.

В назначенное время, в предпоследний день работы конференции, я успел купить пять открыток, прежде чем почувствовал дыхание над ухом. Мы вышли на площадь, и я повел Андрея в сторону Ошары, потом переулками и, наконец, в пустом проходном дворе мы обнялись и поцеловались. Первый раз в жизни, как заметил потом Андрей. Оба были взволнованы. Андрей вдруг начал бормотать: "Мой первый друг, мой друг бесценный..." Я неуклюже отшутился:

— Какой из меня Пуццин? Да и тебе Бог не дал пуццинского таланта дружить. А если упорядочить наших физфаковских, то для тебя первым будет Петя Кунин. А я потяну разве что на Горчакова —

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

— Горчакова надо еще заслужить, — неожиданно осадил Андрей. — Горчаков предложил Ивану Пуцину заграничный паспорт и место на корабле! Да и "фортуны блеск холодный" совсем уж не про тебя.

Часа два мы пробродили по городу. Зашли в кремль, Андрей купил билеты на концерт и окончательно уверился в том, что за нами нет хвоста: огромный кремлевский двор перед кассовой сторожкой был пуст. Разговор шел рваный, с перескоками и ассоциативными ходами. Я хорошо знал старую часть города и вполне справлялся с обязанностями гида. После какого-то моего воспоминания Андрей сказал:

— Вот сейчас я понял, какой я был сволочью, что даже не пытался найти тебя, когда проездом оказывался в Горьком. Как раз в твой последний, безнадежный год здешней жизни...

— У тебя тогда хлопот был полон рот... Это Женькины слова, он тоже казнил, что долг и запреты взяли верх.

— Когда ты видел Женю? Где?.. — вопросы Андрея поразили меня настойчивой заинтересованностью. Он ведь многие годы работал вместе с Женей Забабахиным, а я после 1941 года видел Женю всего один раз. Позднею весною 57-го, когда Кот Туманов, случайно встретившись, затащил его к себе и тут же вызвал меня по телефону. Андрей попросил подробностей.

Среди них была и такая. В студенческие годы Женя жил в общезитии, иногда уезжая к родным в подмосковную Баковку ("Забабахин в Забабаковке живет..."). Во время застолья у Туманова, будучи уже навеселе, мы стали раскручивать футурологический сюжет: Забабахин получает вторую Звезду, на родине дважды Героя сооружают бронзовый бюст и его имя присваивают единственному баковскому предприятию союзного значения. Оно, конечно, печатает картинку этого бюста в качестве фабричного знака на бумажных упаковках своего изделия, и Забабахин становится самым популярным Героем для взрослого мужского населения страны...

— А в расширенном и пополненном издании бодуэновского словаря появится глагол "забабахнуть", — безынерционно завершил мой рассказ Андрей. Несмотря на уникальное воспитание, его не коробили ни истории боккачиевского жанра, ни, скажем, натуральная речь министра Ванникова. И в недельной байке "укрепи и направь" его оскорбила не скабрзность, а наглая циничность отношения имеющих власть к создателям ее могущества. Однако его огорчала натужная и нарочитая матерщина Я.Б.Зельдовича. В ней Андрей видел, вспоминая при этом "Маугли", желание и цель показать генералам и иже с ними: "Я — ваш! Мы одной крови!"

От Забабахина разговор, естественно, перешел к "нашим". Андрей всегда жалел об обрыве непрочных связей университетской поры, но только здесь, в Горьком, стал расспрашивать про однокурсников. И тут меня, в который раз, поразила быстрота его реакции. Рассказывая о гибели в горах Кота Туманова, я упомянул, что потом, при разборе его бумаг, нашлась старая тетрадь с изложением нашей крамольной теории. Суть ее, в переводе с эзопова языка тетради на современный, состояла в следующем. Творцы научного коммунизма (да и утопического тоже) рассматривали лишь равновесное состояние "Рая на земле", оставляя в стороне — по причине математического невежества — вопрос об устойчивости этого состояния. Между тем, если в ансамбле идеальных людей, исповедующих принцип "человек человеку — друг, товарищ и брат", возникает как флуктуация злодей с тираническими намерениями, то все остальные своей доброжелательностью будут способствовать его возвышению, и от первоначального однородного благоденствия ничего не останется. С другой стороны, в мире, жи-

вущем по гоббсову закону "человек человеку — волк!", любой выскочка осаживается соседями и конкурентами, и ансамбль — хотя бы в малом — устойчив. Вся эта ересь камуфлировалась уравнениями, относящимися к перевернутому и обычному маятникам и к пучкам гравитирующих или отталкивающих по Кулону частиц.

Андрей сразу же обогатил наши аналогии. Перевернутый маятник можно сделать устойчивым динамической стабилизацией — принудительными осцилляциями точки опоры. А в случае пучка частиц нужен сверхсильный центр, заставляющий частицы двигаться по предписанным кругам. Как в кольцах Сатурна. И наоборот, прямолинейный пучок заряженных частиц при насильственном закручивании сильным магнитным полем теряет устойчивость из-за эффекта отрицательной массы...

Я рассказал, как мама Кота уговаривала его друзей кончать с альпинизмом, а потом, уже на улице, Рем Хохлов сказал:

— Чтобы выдержать год партийно-начальственной суеты, мне необходимо хотя бы полтора месяца пробыть в горах.

— Хорошо, что ты запомнил эти слова, — обрадовался Андрей. — Теперь я понимаю, почему Хохлов казался мне белой вороной в высшем эшелоне управляющих наукой. Он был смелым человеком не только в горах.

Стоял сырой и промозглый мартовский день. Я пришел на свидание уже простуженным, Андрей тоже слегка продрог, а пойти было некуда*. В ресторане или кафе — если и попадешь — не рассидишься в обеденное время. Да и какой разговор, когда столы на четверых и рядом сидят чужие люди. Но тут меня осенило и я повел Андрея во Дворец партпроса на улице Фигнер. Там не было ни души и, не дойдя до библиотеки, куда нас с радостью пропустила вахтерша, мы нашли уютный загончик неработающего буфета с пустыми столиками и уютными полукреслами.

— Ты — гений! — воскликнул Андрей.

А когда позже мы спустились в кафельно-фарфоровое великолепие, рассчитанное чуть ли не на сто персон, он ахнул:

— Пятый сон Веры Павловны!

Поднимаясь обратно в цокольный этаж, я понял, что с

* Я вспомнил присловье моего горьковского друга Миши Миллера: "Кругом бардак, а пойти некуда". Очень оно понравилось Андрею.

сердцем у Андрея совсем неважно. По городу мы шли не торопясь, но без остановок, а тут ему требовалось постоять посреди лестничного марша.

В буфетном загоне было чисто, тепло, светло, и за все время — а мы просидели там часа три — мимо нас не прошло ни одного человека. Подкрепившись бутербродами, захваченными мной на случай возможного провала, мы наслаждались неторопливой беседой. Андрей похвастался изящным решением матричного уравнения, расспросил о моих занятиях и в ответ на мой вопрос сказал:

— Моя заветная мечта — дожить до того времени, когда все будет ясно со временем жизни протона... — и стал подробно объяснять проекты гигантских экспериментов по определению этого времени. Потом разговор снова перекинулся на людей. Его ужасно огорчал академический сервиллизм, обусловленный не смертельным страхом, как в былые времена, а обычными карьерными соображениями, желанием обезопасить "выездной" статут или руководящее кресло.

— Тогда в ФИАНе обстановка напоминала контору домоуправления. В ЖЭКе не выдают никаких справок, пока не предъявишь расчетную книжку с уплаченной квартплатой. А у нас не выдавали характеристик ни для защиты диссертации, ни для заграникомандировок, пока не подмахнешь квитка с осуждением Сахарова. Только Виталию Лазаревичу удалось уберечь наш отдел от этого унижения.

Незадолго до нашей встречи проходило общее собрание АН, на котором, согласно Уставу, члены АН обязаны присутствовать, и эта их обязанность всегда подчеркивается в приглательном извещении. А тут Сахарову сообщили, что его участие не предусмотрено.

— Зачем Президиум АН берет на себя полицейские функции? "Не предусмотрено" совсем иными инстанциями, а дело АН, четко определенное Уставом, — известить!

Андрей стал обсуждать со мной придуманную им акцию. Пусть двенадцать академиков (ему почему-то хотелось, чтобы их было именно двенадцать) в официальном порядке возбудят чисто процедурный вопрос об отказе Президиума выслать положенное Уставом извещение действительному члену АН. Кто согласится? Капица, Леонтович, наши — Андрей и Женя (Боровик-Романов и Забабахин), еще несколько имен... Дюжина не

набиралась. А в других городах? Вот в Ленинграде Жорес Алферов — прекрасный физик. Я засомневался, вспомнив Казариновскую историю. Жена физтеховского теоретика устроила на квартире выставку работ левых художников. Сам Казаринов в дни выставки — от греха подальше — не жил дома. Руководство Физтеха (Тучкевич, Алферов и др.) не только уволило его, но и провело через Ученый Совет ходатайство в ВАК о лишении ученых степеней и звания. ВАК, правда, оказался менее кровожадным и не удовлетворил просьбу ленинградских физиков.

— Не угадали родители, — сказал Андрей. — Им следовало, раз уж так хотелось французского, назвать сына не в честь пацифиста Жореса, а дать ему стандартное имя Марат.

И снова, уже не неожиданный для меня, скачок в другое время:

— Какая жалость, что Пушкин сжег "Автобиографические записки". И есть только маленькая заметка о Будри. А в "Записках", небось, эта тема была развита со всей многогранностью. В Лицей, первоначально затеянный для обучения младших братьев царя, берут профессором брата цареубийцы Марата! Ты помнишь пушкинскую запись о Скарятине и Жуковском? Убийца отца императора мирно беседует с воспитателем наследника престола... А ведь Лицей ничем не был отгорожен от Царскосельской резиденции! У них, значит, совсем не было отдела кадров. А вот в ЛИПАНе кадровики в два счета уволили Давыдова только за то, что его жена раньше была замужем за аккомпаниатором Вертинского. Не зря хлеб ели!

Разговор вернулся к двенадцати академикам. В глубине души Андрей любил свою Академию и ему очень хотелось, чтобы к ней вернулось былое чувство собственного достоинства. Пусть она заступается за своих сочленов, а не спешит угодить начальству. Я не разделял его надежд. В разгаре словопрения я неосторожно ляпнул, что оно напоминает исторический телефонный разговор Сталина с Пастернаком, когда Сталин говорил, что писательский союз должен грудью стать на защиту собрата по перу, а Пастернак отвечал, что этот союз уже давно таким делом не занимается. Андрей опешил:

— Значит, я в роли Сталина, а ты — Пастернак? Ну, спасибо. У юристов такое называется: добавить к ущербу оскорбление.

Часов в шесть мы покинули Дом партпроса. У Андрея была бумажка с адресом Марка Ковнера, там остановился приехавший из Москвы Алик Бабеньшев. О его намерении прогнаться к Сахарову я слышал краем уха недели две тому назад. Андрей совсем не знал улиц Горького, и я проводил его до подъезда. Но мы не успели попрощаться. От дверей дома к нам подошел мужчина в коротком пальто. Это был, как потом объяснил мне Андрей, его куратор — капитан Шувалов. Шувалов сказал, что он не имеет права задерживать Андрея, но, если тот войдет в квартиру Ковнера, то находящийся там москвич будет немедленно увезен на вокзал, так что встреча все равно не состоится. Затем Шувалов повернулся ко мне, но Андрей мгновенно перехватил его:

— Тогда, конечно, я не пойду к Ковнеру. А могу я пригласить к себе домой старого друга... старого университетского товарища, — поправился Андрей, — которого я случайно встретил сегодня на улице?

— Вы специально приехали к Андрею Дмитриевичу? Вы работали вместе с ним в Москве?

— Нет, — не дал мне ответить Андрей. — Мы никогда вместе не работали. Мы вместе учились еще до войны, он — мой старый университетский товарищ, он приехал в Горький на конференцию, и мы случайно встретились на улице.

Шувалов попросил показать командировку, став под уличным фонарем, внимательно прочитал и ее, и пригласительный билет участника конференции, задал еще несколько уточняющих вопросов (тут уж отвечал я), а потом сказал, что не в его власти разрешить посещение. И отошел. Ковнер жил рядом с магазином "Научная книга", и Андрей предложил мне зайти туда. Внутри, около книжных полок, Андрей сказал, что теперь понятно, почему не было хвоста. Они знали конечную цель его похода в гости и спокойно ждали в точке прихода. Как в кинетической теории газов, неведомой для них, они законно пренебрегли возможностью двойного соударения!

Магазин закрывался, а у выхода нас поджидал Шувалов. Он попросил еще раз посмотреть мои бумаги и вдруг сказал, что мне разрешается навестить Андрея Дмитриевича дома.

— Спасибо, — ответил Андрей. — но сегодня мы уже поговорились, да и время позднее. Так что Михаил Львович лучше воспользуется вашим разрешением завтра или в следую-

щий приезд, когда моя жена будет в Горьком.

Шувалов ушел.

— Тут у него машина с рацией. — сказал Андрей. — Но хвост за нами, конечно, пойдет.

По дороге к остановке автобуса на Щербинки мы условились, что, если я не разболею за ночь, то утром в 11 буду внутри маленькой почты рядом с домом 214 на проспекте Гагарина. А уж оттуда Андрей поведет меня к себе домой. Так будет надежнее.

— А что тебе говорили Александры Иванычи? — вдруг спросил Андрей.

— ?

— Ты что, забыл, как Александр Иванович Тургенев говорил Пушкину: "Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским, и духовным?"

— У меня не было Александра Иваныча. Я даже Наташе не говорил о своих планах. Чтобы она не волновалась.

— А вот Бабеньшев, к сожалению, рассказал, должно быть, самым близким друзьям. И пошла диффузия...

В последние минуты, на автобусной остановке, когда, казалось, все уже было сказано, Андрей как-то отстраненно произнес:

— Все-таки я был прав и к тебе можно отнести стихи, написанные Пушкину. Те, что до 14-го декабря:

На стороне глухой и дальней
Ты день изгнания, день печальный
С печальным другом разделил...

.....

Где ж молодость? Где ты? Где я?

Ночью у меня было 38⁰, а утром, ни свет ни заря, примчался перепуганный заместитель директора института-организатора конференции. По его словам, некий высокий чин из КГБ устроил ему выволочку за то, что московский участник имел встречу с Сахаровым. И пригрозил прикрыть все последующие мероприятия с участием москвичей. Я ответил, что не считаю себя вправе разрушать научное благополучие горьковского физика. И поэтому не буду искать встреч с Сахаровым, находясь в Горьком по приглашению института. Это обещание

я сдержал. Три последующие встречи с Андреем произошли в мое отпускное время, когда я гостил у друзей в деревне под Горьким.

В августе 1980-го наше свидание вначале в точности шло по мартовскому сценарию. Но потом пошли отступления. Андрей сказал, что Люсе очень хочется принять меня по-человечески, дома, и предложил такой план действий. Я еду автобусом до Щербинок, где Люся поджидает меня в открытой лоджии их квартиры на первом этаже. Она окликает, и мне остается лишь перемахнуть перила лоджии.

— Тут нет ничего незаконного. В любом государстве мужчина имеет право пройти к знакомой даме — если она его приглашает! — не в дверь, а через балкон. Как Ромео к Джульетте. Претензии могут быть только у мужа или родителей... А я приеду следующим автобусом.

Приехав в Щербинки, я обнаружил, что "донны Лючи на балконе" нет, а дверь из лоджии во внутренние покои закрыта. Оконные стекла неосвещенной квартиры не позволяли разглядеть, есть ли кто в комнатах, да и не для моих глаз такое занятие. Я вытащил данную мне Андреем бумажку с планом местности, но не успел свериться. Передо мной возник милиционер:

— Что вы здесь высматриваете?

— Пытаюсь понять, где живет мой знакомый.

— Кто?

— Андрей Дмитриевич Сахаров.

— Пройдите со мной в опорный пункт. Вам там все объяснят.

В опорном пункте милиции, окна которого выходили как раз на лоджию Сахарова, дежурный начальник, изучив все страницы паспорта, спросил:

— Вы что, не знаете, что к Сахарову нельзя?

— Слухи об этом до меня доходили. Но вот несколько месяцев тому назад мы с Сахаровым встретили на улице его куратора, и Шувалов сказал, что я могу навестить Андрея Дмитриевича дома.

— ?! Подождите... — и начальник с моим паспортом ушел в другую комнату. Ждать пришлось два часа. Через окно я увидел подъехавшую машину, вошел сам Шувалов, узнав кивнул головой и провел меня мимо вскочившего у своего столика милиционера в сахаровскую квартиру. И до сего дня я

не знаю, как согласовать весенний испуг горьковских физиков и поведение "благородного злодея" Шувалова. Мне хотелось думать, что служебный долг не смог помешать Шувалову испытывать к Сахарову чувство глубокого уважения. А может быть, и симпатии. Позже, уже в Москве, Андрей ответил мне так:

— Как некоторые чиновники, приставленные к Сперанскому во времена его ссылки? Может быть, ты и прав. Не только крестьянки чувствовать умеют.

Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказал о пребывании в опорном пункте (там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон), Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня и себя, что мы сходу не "продлили разрешения" на следующие разы.

— Ладно, будем считать, что тогда он сказал не "навесить", а "навещать".

Я не буду пытаться воспроизвести здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более, что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я процитировал "Сон Попова", и вдруг выяснилось, что Андрей даже не слышал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание А.К. Толстого.

— Прочти что помнишь, — попросил Андрей.

Я не раз читал "Сон..." моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал "Сна", ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским.

— Теперь существует еще одна запись! — засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории.

Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это:

— А помнишь, как в "Татьяниной Церкви" (старый клуб МГУ) Анатолий Доливо пел: "Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать..."

Мне надо было еще захватить за женой и детьми. Люся тоже в этот вечер уезжала в Москву, и они начали спорить: Андрей хотел посадить ее в поезд, Люся настаивала на проводках до автобуса — ей не хотелось, чтобы Андрей один возвращался ночью в Щербинки. Когда я уходил, спор еще не кончился.

На вокзале, выйдя из вагона покурить, я увидел у подножки Андрея и Люсю. Оказалось, что касса предварительной продажи в Москве и ветеранская броня Люси свели нас чуть ли не в соседние купе. Пришла Наташа, и мы вчетвером минут пятнадцать постояли на перроне. Остальные проводжавшие сидели внутри вагонов со своими уезжающими.

— Для меня такое "не предусмотрено", — сказал Андрей.

К 60-летию Андрея, уже зная, что летом буду снова гостить под Горьким, я послал ему через Люсю "Подражание Канцоне, написанной в мае 1931 года".

Неужели я увижу скоро —
Слева сердце бьется, лейся слава —
Прядь волос над полысевшим косогором,
И услышу голос твой картавый?

Словно в перевернутом бинокле
Еле различу я пункт опорный.
Красный цвет и желтый не поблекли,
Но всего устойчивей цвет черный.

Этот город был моей отрадой,
Несмотря на беды и обиды.
За окном видны дома-громады,
Где была лишь деревушка-гнида.

Не уложишь в ямбы и хорей
Тракт с тюрьмою старой, Арзамасский...
Я скажу "слям" куратору Андрея
За его малиновую ласку.

И припомню, чтобы подивиться,
Сколько у истории завалов —
При Елисавет-императрице
Был уже куратором Шувалов.

.....
.....
.....
.....

На столе фисташки, мед и творог —
Выложено все, что было в доме...
Неужели разменяли сорок,
Сорок лет, что мы с тобой знакомы?

Лишь держатель акций знает сроки
Птиц широкогрудых перелета.
От меня ж на память эти строки
Прозорливцу дар от стихоплета.
Май 1981

— Никому, кроме нас с тобой, не понятно, — сказал при встрече Андрей, — но все равно возникает ощущение прошлогоднего чаепития в Щербинках.

Эта третья встреча, летом 1981 года, тоже началась у киоска "Союзпечати". Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в перегнанной к тому времени из Москвы машине ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу ("в пределах строгих известного размера бытия", — вспомнил Андрей Вяземского), а потом надолго, до глубокой темноты осели на Откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок.

Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда, от Андрея, мы узнали, что Берия действительно произнес фразу "Будытэ слэдыт, не будэт врэдыт", которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным.

Их очень мучила вся ситуация с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве.

На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне:

— Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!*

Дом, где мы с женой остановились в Горьком, стоял на Откосе, у меня в кармане лежали ключи, но... Я вспомнил "честное купеческое слово", данное на другом волжском откосе.

— Не переживай, — утешил меня Андрей. — Надо уметь входить в обстоятельства друзей. Особенно если они для пользы Дела, а не личные, как у Якова Борисовича. Сейчас я, пожалуй, не подал бы ему руки...

Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной Откосу улице. Постояли около нее с полчаса. Кругом ни души.

— Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали, — сказал Андрей.

Через пять лет нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило. Улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас скорее всего засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась! Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вы-

* Рефрен послания В.Л.Пушкина к нижегородцам в 1812 году.

шел на лоджию, чтоб выпустить ее на волю. Наташа окликнула: — Андрей Дмитриевич!.. Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке.

Минут сорок мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация*. Я мало что мог добавить к ней. Еще Андрей попросил исправить его ошибку: во время недавнего приезда фиановцев его спросили, не хочет ли он снова заняться термоядом. Он ответил отказом, мотивируя тем, что давно отстал от этого дела, а тем временем термоядерная наука ушла далеко вперед. Сейчас же, взвесив все, он принимает это предложение. (В теоретическом отделе ФИАНа очень обрадовались, когда я сообщил им о согласии Сахарова).

Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал, что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась "обслуга". Они прошмыгнули около нас, некоторые с фото- и киноаппаратами, и не таясь, открытую щелкали и жужжали.

— Поставщики Виктора Луя, — определила Люся.

Сахаровы всегда произносили Виктора Луя на русский лад. Ударение, впрочем, иногда, ради рифмы, переносилось: Луй.

Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый Город — главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры, в магазине, кроме хлеба, нашли и сметана с творогом, дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал "завтрак на траве". "Трава" обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками, такие столы заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого города, слава Богу, на большом расстоянии друг от друга.

* Сколько административного идиотизма в том, что в предельно "нестандартной" ситуации в Чернобыле никто — ни министры, ни академики! — не подумали (или не решились?) привлечь к ликвидации аварии Сахарова — мастера нетривиальных технических решений. А вот во время армянского землетрясения выпускали ведь из тюрем. И ничего, потом все выпущенные вернулись.

Наружнее наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару "статистиков". Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса "накачивал" камеру в режиме воздух-воздух.

В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о пяти прошедших годах... Сейчас обо всем этом можно прочитать в двух книгах воспоминаний Андрея и в Люсином "Постскрипуме". Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадёги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова:

— Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбинные фильмы. И зрители возрадуются — вот как хорошо живется Сахаровым в Горьком!

— Да и нас с Наташей могут теперь показать на американском экране. Так что и тебе недалече до Луевых гор! — добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину. Значит, не сломали его эти годы.

Напоследок покатались в дозволенных режимом границах. Перед отъездом в Москву Наташе и мне надо было навестить больного М.Миллера. Сахаровы довели нас до его дома. Прощание было долгим и трудным.

Мы сидели в машине, говоря какие-то последние отчаянные слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пушкину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: "Промчится год, и с вами снова я", но тогда в это не верилось.

Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку дома. Сахаровская машина оставалась на месте...

Через час, уйдя от Миллера, мы сразу напоролась на милиционера, сопровождаемого штатским. Милиционер проверил документы, штатский показал свою книжечку и без обиняков спросил:

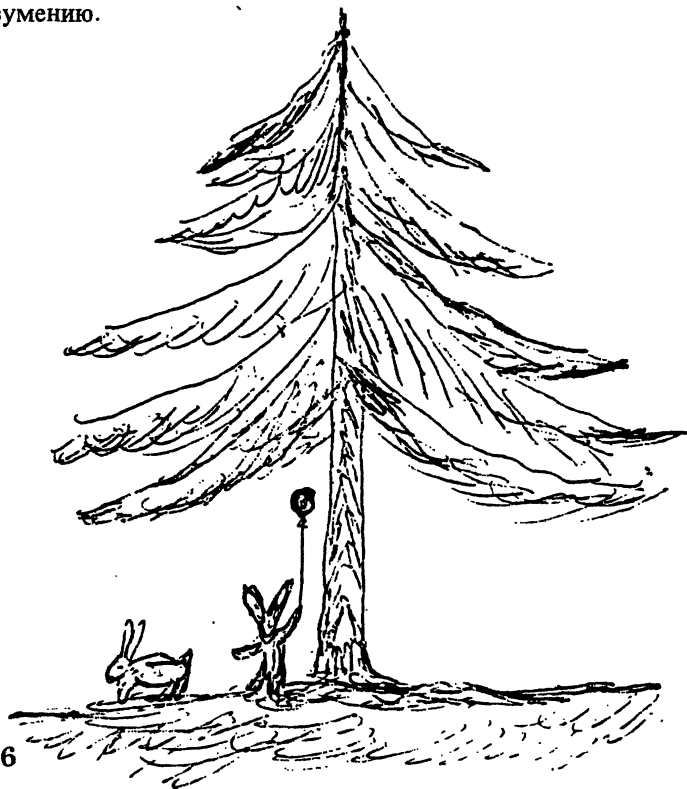
— Есть ли у вас какие-нибудь бумаги, переданные Андреем Дмитриевичем и его женой?

— Есть. Елену Георгиевну выпроваживали из Москвы с такой поспешностью, что она не смогла взять ряд вещей до-

машинного обихода. Она передала мне их список. Для отправки почтой. И еще она впопыхах увезла с собой сберкнижку мужа, на которую перечисляется его академическое жалованье. Эта книжка живет в Москве, с нее снимаются деньги для большого брата Андрея Дмитриевича.

— Я не буду проверять, есть ли у вас еще что-нибудь, но хочу предупредить. Сейчас Сахаровы пытаются всеми правдами и неправдами передать за рубеж лживые и клеветнические сообщения и призывы. И, если в ближайшее время на Западе появится что-нибудь новенькое, то у нас не будет сомнений относительно источника. Вы свободны. Можете идти.

В моем кармане лежала согнутая пополам трехкопеечная ученическая тетрадка. На ее внутренней обложке Андрей, сидя за столом в роще, нарисовал картинку. По старой памяти, как в студенческие времена, когда я завидовал его умению рисовать. Вот эта картинка. Каждый волен понимать ее по своему разумению.



На другой день после исторического звонка Горбачева я позвонил в Горький. Пересказав разговор, Андрей добавил:

— Сегодня у меня знаменательный день. Первый раз за семь лет без месяца я переступил порог научного учреждения. И не простого, а академического! Привозили в Институт прикладной физики на свидание с Марчуком. Так что сдавал меня один президент, а принимает другой. Подробности при встрече.

— Когда?

— Боюсь, что не очень-то скоро. Надо ведь, чтобы Люсе отменили ссылку. А юристы торопиться не любят.

Получилось, конечно, скоро, и началась московская круговерь в жизни Сахаровых. Только через несколько недель они выкроили — уж не знаю как! — целый свободный вечер, и мы снова вчетвером сидели за столом, теперь уже в четырех стенах. Разговор был куда веселее, а харч побогаче, чем в Зеленом Городе, и Андрей мог подогревать свою долю на газовой плите. Сахаровы были полны планов и намерений. Люся даже показала длинный список неотложных дел, по моей оценке, месяца на три. Я пошутил, что им еще надо отдать мне четыре визита.

— Домашний только один! — осадил Андрей. — А улочные набегут сами, если считать поштучно.

— Нет уж, тогда считай по чистому времени.

— Дай Бог, наберу и по сумме всех τ_i .

За отпущенные три года жизни сумма τ_i , я думаю, набралась. А вот домашний визит так и не получился, хотя Андрей не раз вспоминал о своем "долге". И однажды, забежав ко мне на несколько минут, подчеркнул, уходя, что "это не считается".

Речь за столом шла о Чернобыле. Андрей за это время успел запастись кое-какой информацией, а я принес ему нечаянный плод моего касательства к предыстории катастрофы, о котором я говорил еще в Горьком. Летом 86-го дачные знакомые — механики Г.И. Баренблатт и А.А. Павельев обратились ко мне с неожиданной просьбой найти у Шекспира слова леди Макбет: "Известно всем, что безопасность — всех смертных самый первый враг". Эта цитата, "подтверждая извечный принцип единства и борьбы противоположностей", венчала статью академика В.А. Легасова, В.Ф. Демина и Я.В. Шевелева "Нужно ли знать ме-

ру в обеспечении безопасности?”, напечатанную в журнале “Энергия” в августе 1984 г. В статье утверждалось, что вовсе не следует стремиться к максимальной безопасности в ядерной энергетике. Безопасность, математически характеризруемая ценою риска, должна входить как слагаемое в суммарный баланс различных факторов (экономический эффект, расходы, зарплата и т.д.), и надо искать оптимум соответствующей суммы. Ведь люди ценят не только продолжительность жизни, но и ее полноту, приятность, качество. Иначе они не летали бы на самолетах, не занимались альпинизмом, не рисковали бы жизнью ради богатства. “Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности, тех, где формируется качество жизни”. Все эти рассуждения, разбавленные формулами, графиками и специальной терминологией, и подводили читателя к диалектической мудрости леди Макбет.

Но ни в одном русском переводе таких слов леди Макбет нет. Не говорила она их и по-английски. Однако в подлиннике есть слова: “And you all know security is mortals’ chiefest enemy”. Только произносит их не леди Макбет, желающая мужу успеха, а предводительница ведьм Геката, стремящаяся погубить Макбета. И говорит она эти слова по делу: в любом комментированном издании Шекспира отмечается, что в его время security означало легкомыслие, самонадеянность, а вовсе не безопасность, как теперь.

Эти шекспировские изыскания сделали меня соавтором антилегасовской заметки, посланной нами под заголовком “Еще раз о культуре перевода” в “Литгазету”. Там, конечно, учуяли мину и посоветовали обратиться в “Литучебу”...

Прочитав нашу заметку и ксерокс легасовской статьи, Андрей сказал, что рассуждения трех авторов — пошлый и подлый софизм. Человек вправе рисковать собственной жизнью ради удовольствия, наслаждения или выгоды. В “Египетских ночах” трое мужчин — у каждого своя причина! — даже не рискуют, а сразу отдают жизнь за ночь Клеопатры.

Другое дело увеличивать “качество жизни” одной группы людей, в частности, свое (награды, звание, служебное положение) ценою риска для других людей. И даже если последние тоже что-то выигрывают, то все равно необходимо получить их согласие на риск. Смешивать все это в одну кучу — то же самое, что приравнивать героев книги нашей юности “Охотники

за микробами”, рисковавших собственной жизнью, к “врачам” концентрационных лагерей, ставивших опыты на заключенных.

Особенно разозлила Андрея еще одна литературная аргументация статьи:

“Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется ворону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину. Большинство людей отвергает такой стиль жизни”.

— Как они смеют тянуть себе на подмогу Пушкина! Я бы на вашем месте включил в заметку ответ Гринева: “Но жить убийством и разбоем значит по мне клеветать мертвечину”. В назидание ученым мужам, привыкшим любое одеяло тянуть на себя.

— Но они хоть помнят “Капитанскую дочку”. А я вот встречал академиков, полагавших, что “ежовы рукавицы” появились в русском языке лишь в 37-м году.

— Врешь! — и через минуту: — Послушай. Забавно, что истинный смысл “ежовых рукавиц” и лукавое толкование Петруши для немца-генерала относятся друг к другу так же, как истинные задачи III Отделения и наказ императора Бенкендорфа: “Утирай слезы вдов и сирот!”

Я не знаю, пригодилась ли Андрею наша заметка на тех заседаниях по ядерной энергетике, в которых он принимал участие. Но он вспомнил о ней, когда стало известно о самоубийстве Легасова:

— Хорошо, что тогда не напечатали вашу заметку. А то бы теперь мучило: вдруг она стала той маленькой гирькой, которая потянула коромысло весов в сторону страшного решения... Знаешь, у меня один раз был затяжной приступ черной тоски. Такой, что если бы не дети и жена...

Андрей не кончил фразы, а я не решился задать вопроса.

Не надо думать, что Пушкин был для Сахарова чем-то вроде иконы, на которую можно только молиться. Конечно, его возмущали попытки — вроде легасовской — покрывать Пушкиным свои горшки, но добросовестное непринятие пушкинских взглядов и осуждение его поступков всегда вызывали у Андрея глубокий интерес и желание отцедить для себя крупинцы истины. Еще в юности он предпочитал язвительного Писарева восторженному Белинскому. Да и сам Андрей не раз спорил с Пушкиным.

Пока Андрей жил в Горьком, в Москве скончался знаменитый математик — академик Иван Матвеевич Виноградов. У него не было родных, и с его наследством вышла очень некрасивая полууголовная история. Часть утвари и библиотеки разобрали и разворовали, завещание оказалось сомнительным и чуть ли не подделанным. Личный архив покойного, состоящий в основном из писем, запихали в чемодан, отвезли в Стекловский институт, директором которого был Виноградов, а на другой день сожгли на заднем дворе.

Вернувшись в Москву, Андрей узнал все это от кого-то из академических знакомых и спросил меня, не знаю ли я подробности и причины. Его особенно возмущало сожжение архива. Жгли его не кадровики, для которых такое занятие является рутинным, а доктора наук, причем, как выразился Андрей, "из хороших фамилий". Подробностей я не знал, а о причинах мне рассказывали приятели-математики. После войны Иван Матвеевич заболел антисемитизмом. Причем не абстрактным, а весьма действенным: Виноградов обладал огромной властью в научно-административной сфере, намного превосходящей его институт, стерильно очищенный не только от евреев, но и от мужей евреек. Люди, бывавшие у него дома, рассказывали, что зачастую, когда речь заходила о каком-нибудь математике, хозяин вытаскивал из ящика стола письмецо этого математика, сообщавшее, что автор — стопроцентно русский человек и крещен там-то и тогда-то, а вот у его конкурента на должность или академическое место мать жены — еврейка. И только ради спасения чести цвета отечественной математики стекловские доктора наук сожгли — не читая! — все письма, хранившиеся Виноградовым.

— Собачья чушь! — отрезал Андрей. — Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы. Все куда проще. Небось, у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку! А ведь они сожгли, может быть, и письма великих: Харди и Литтльвуда, Шнирельмана и Гельфонда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь — она нужна истории... А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина? Мол, Пушкин радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Тут Пушкин абсолютно не прав! Написал он это, я думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных сало-

нах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания и кого только не тянул, чуть ли не силком, писать их. Слава Богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары... Забавно, в письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на судне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую:

...флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.

Острое чувство слова проявлялось у Сахарова и в его интересе к каламбурам. В горьковские времена он получил записку с утешением: нет пророка в своем отечестве. Я тогда вспомнил два стиха из лагерной поэмы моих друзей:

Что ж, дайте срок, дождетесь пророка...
Пророку бы не дали только срока!

— и Андрей несколько раз повторил вслух эти строки, передвигая ударение каждый раз на другое место.

Были у него и куда более серьезные упреки Пушкину. За "Записку о народном воспитании" и стихотворения 31-го года, названные Вяземским "шинельными". Имперская позиция, по мнению Сахарова, как эстафетная палочка, передавалась через поколения. От Пушкина и Тютчева до П.Л.Капицы.

— Имперский дух им всем подгадил! Но они всегда с уважением говорили о противниках. Как и "бард британского империализма" Киплинг. Ведь баллада о Востоке и Западе написана про Афганистан, войну с которым Англия проиграла. А наши теперешние доморощенные киплинги только и умеют что обливать врагов грязью и дерьмом. И все это в сочетании с глупой трусостью. Как в твоём рассказе о Шерлоке Холмсе.*

* Во время одной из наших встреч в Горьком я рассказал Андрею, что в телевизионном "Шерлоке Холмсе" по требованию начальства произвели переозвучивание. При первом — хрестоматийно-знаменитом — знакомстве Холмс сразу угадывает, что Ватсон вернулся из Афганистана, где как раз идет война. Велено было заменить "Афганистан" на "восточные провинции".

А к антисемитизму у Сахарова была жестокая и абсолютно бескомпромиссная ненависть. Любое, даже косвенное или зачаточное его проявление вызывало мгновенный отпор. Тут и чувство юмора изменяло Андрею. Вскоре после начала работы первого Съезда он спросил меня: видел ли я по телевизору Станкевича? Говорят, что у него очень похожая картавость. Так ли это? Ведь человек своего голоса по-настоящему не знает. Я брякнул, что картавят люди моей породы, а они со Станкевичем грассируют. И получил от Андрея форменную выволочку.

К С.Станкевичу и еще нескольким молодым депутатам он относился с какой-то трогательной надеждой.

— Ведь он старше моего Димки всего на пару лет! Их поколению расхлебывать старое и сооружать новое. А наше долго не протянет... Помнишь, сразу после войны привезли песенку стариков-фольклористов:

Wir — alten Affen
Sind neue Waffen.

Впрочем, когда начали заниматься *neue Waffen*, я был вполне молодой обезьяной. Как нынешний Болдырев... А Пушкина в Лицее звали "смесь обезьяны с тигром"... — нырнул Андрей в начало прошлого века.

Модные сейчас рассуждения о глубокой религиозности позднего Пушкина Андрей не принимал всерьез. Конечно, Пушкин восхищался Библией, перечитывал ее и знал лучше иного богослова. Еще в Михайловском — "Шекспир и Библия". Без Библии не было бы не только стихотворений последних лет, но и "Анчара". Однако, в 25 лет он написал цикл "Подражания Корану", а позже гениальное "Стамбул гяуры нынче славят...", пропитанное мусульманской нетерпимостью. Почему бы тогда не утверждать, что Пушкин склонялся к исламу?

Когда аятолла Хомейни приговорил к смерти писателя Рушди, чем-то оскорбившего любимую жену Пророка, некоторые наши патриоты, считая, конечно, смертный приговор чрезмерным, с пониманием отнеслись к оскорбленным религиозным чувствам иранских фанатиков и полностью одобрили их праведный гнев, близкий по духу к инвективам литроссиян против Синявского. В связи с одной из публикаций такого толка Андрей заметил:

— Рушди — теленок по сравнению с нашим Пушкиным. Во всей мировой литературе нет произведения более кощунственного для истинно верующего христианина, чем "Гавриилиада". Божия Мать прямо перед тем как понести от Святого Голубка, с охотой отдалась Лукавому и Архангелу! А у Рушди всего-навсего намек на неблаговидное поведение Айши. Нашим "хемейни" следовало бы предать сочинителя "Гавриилиады" вечному проклятию, а заодно пригрозить смертью всем издателям его сочинений. И я понимаю, что Пушкин был навсегда благодарен Николаю за то, что тот закрыл "дело" и спас его от позорного заточения в монастырь. Полежаева ведь за обыкновенную студенческую похабщину отдали в солдаты... А какие стихи! Все гаремные описания в "Бахчисарайском фонтане" — бледная тень по сравнению с тем, что в "Гавриилиаде". И сколько озорства! Забавно*, что почти в одно и то же время Пушкин одалживает у Крылова "самых честных правил" для "моего дяди", а "Шестнадцать лет... бровь темная..." в описании Марии заимствует из "Опасного соседа" своего дядюшки! И заметь, что Пушкин всюду снижает небесное начало Богородицы — "с сыном птички и Марии"! — и подчеркивает ее земную прелесть. Вот и в "Мадоне" ему хочется иметь картину "без ангелов". Само сравнение невесты с Пречистой Девой достаточно греховно. Пушкин страстно торопил свадьбу с Натальей Николаевной вовсе не для того, чтобы на нее молиться... В дневнике есть запись: "Я очень люблю царицу". Я думаю, что в приступах поэтического воображения он бывал неравнодушен и к Царице Небесной. Так что стихи

Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа

— упрек не только рыцарю бедному, но, в какой-то степени, и самому Пушкину... А эти, вместо живого, противоречивого Пушкина, пытаются сотворить новый миф. Раньше все время напирали на народность. Теперь — на православие поэта. Того гляди дойдут и до последнего члена уваровской триады — самодержавия.

Кстати, о мифотворчестве. В "Книжном обозрении" на-

* Андрей часто употреблял это слово. По его наблюдению, мы оба заразились "забавно" от М.А.Леонтовича.

печатали статью Г.Ханина о пробуксовывании нашей науки, статью хорошую и дельную, но, к сожалению, с пережестами. Например, утверждалось, что к антисахаровским заявлениям принудили практически всех членов АН, не поддались только П.Л.Капица, И.Е.Тамм, В.А.Энгельгардт и еще два-три академика. Я написал письмо в "КО": не замаралась большая часть списочного состава АН, что же касается названных поименно, то правильно указан лишь Капица. Конечно, Тамм не принял бы участия в такой недостойной кампании, но он умер за два года до ее начала. А Энгельгардт подписал обе академические коллективки – "сороковку" и "нобелевскую".

Узнав, что моя заметка не пошла в печать (из-за переполненности портфеля редакции), Андрей сказал:

– Миф всегда выигрывает и понятнее действительности... "Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман..." Лет через десять станут писать, что Комитет поддержки объявившего голодовку астрофизика имел предметом не доктора Хайдера, а академика Сахарова. И что председатель этого Комитета не на командировочные тысячи летал в Вашингтон, а за свой, кровный четвертной купил туда-обратный билет в Горький... Я тогда очень переживал поведение Энгельгардта. Какой великолепный человек скурвился! Интеллигент высшей пробы. Патриций... Евгений Львович рассказывал прелестную историю. В газетах писали про открытие новой частицы, предсказанной теоретиками, и в перерыве Общего собрания АН Энгельгардт спросил об этом Д.В.Скобельцына. Тот выставил замену – стоявшего неподалеку Е.Л.Фейнберга. Когда членкорр Фейнберг закончил объяснения, академик Энгельгардт повернулся к академику Скобельцыну и с легким поклоном сказал:

– Спасибо, Дмитрий Владимирович!.. Слава Богу, у "Илиады" не болел живот.

Сахаров был прав – мифотворчество продолжается. Не прошло и года со дня его смерти, а уже в "Известиях" можно прочесть: "Николай Вавилов, Петр Капица, Николай Семенов, Андрей Сахаров своими позициями и поступками спасали честь отечественной науки". Семенов – великий ученый, на счету которого немало добрых дел, но его подпись стоит под обоими поносными письмами, в которых Сахаров клеймился как раз за то, что сейчас называется спасением чести нашей науки. Так что столь близкое соседство в обойме на четверых не удивит

лишь людей с очень короткой памятью.

— Самое противное в академическом начальстве — это сочетание сервиллизма по отношению к высшей власти со шляхетским высокомерием к тем, кто является настоящим костяком науки, — сказал Андрей, узнав о реплике "Чернь пытается навязать нам свою волю", отпущенной одним из вице-президентов во время мятежа академических институтов. И добавил:

— Сейчас у нас вместо кухарок вице-президенты Академии Наук. Каждый рвется управлять государством. Лезут через все щели в народные депутаты. Один даже через общество шведско-советской дружбы.

В разгар выборных баталий мне вспомнились пушкинские стихи:

Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.

— Времена меняются, — ответил Андрей. — Но все равно попридержи язык. "Сейчас не время помнить..." А то подхватит какой-нибудь газетчик.

В своих публичных выступлениях, в том числе с самых высоких трибун, Сахаров часто пользовался привычным обращением "товарищи!" Честно говоря, я не замечал этого, пока не начала жить "Московская трибуна". Уже на первом учредительном собрании, с легкой руки Л.М. Баткина, основной формой стали "коллеги!" И иногда "друзья!", в особых случаях "господа!", а если кто и говорил "товарищи!", то сразу же поправлялся. Один только Андрей оставался "со товарищи". Позже он ответил мне, что эмоциональная окраска слова, его ± значение образовались у него в детстве. И "товарищ" пришел к нему не с газетных страниц, а из "Капитанской дочки", "Судьбы 120 товарищей, братьев...", "К Чаадаеву"...

— Что ж, теперь прикажешь читать: "Коллега, верь: взойдет она..."?

А вот слово "патриот" до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из "Марсельезы" и Виктора Гюго — со знаком плюс. А на русской стоит клеймо "Господина Искарриотова" и щедринского "потребитизма".

Запинки и сбои в речах, принимаемые многими за легкое косноязычие, на самом деле всегда имели причиной поиск

максимально точных слов для выражения мысли. Он стремился к этому даже в самых экстремальных ситуациях, например, в момент червонописской истерии зала. Задолго до нее, еще во время первых нападок на канадское интервью, Андрей заметил, что стрелять в сдающихся солдат могли, вообще говоря, и без особого приказа сверху. Потому как по военному Уставу и по Уголовному кодексу добровольная сдача в плен есть величайшее преступление. Недаром во всех художественных произведениях, очерках и статьях на темы последней войны все положительные персонажи не сдаются, а попадают в плен в бессознательном состоянии. Сразу после ТВ-показа кремлевского заседания я вспомнил об этом разговоре и заглянул в старый УК, изданный в 1938 году. Там не оказалось отдельной статьи о плене, а в статье 193²² была вполне разумная формулировка: "...Самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой..." замененная сейчас на "добровольную сдачу в плен по трусости или малодушию".

Сообщив это по телефону Андрею, я справился о его самочувствии.

— Не волнуйся. Мне не привыкать к нападкам. Я же мог отбиваться и, по-моему, успел сказать главное. Не то что последние месяцы в Горьком, когда я чувствовал себя, как мышь в стеклянной банке, из которой постепенно выкачивают воздух.

Стремление к предельной словесной точности никогда не оставляло Андрея. В газетах появились сообщения о том, что В.Боярский, пыточный дел мастер сталинских времен, после 53-го года с успехом подвизался в аппарате Президиума АН. Причем не в отделе кадров или иностранном отделе — законных вотчинах органов, а в респектабельном редакционно-издательском совете, где он командовал научно-популярной литературой и даже достиг известных ученых степеней. Прочитав мне стишок:

АН была когда-то царской...

Теперь в ней дух царит боярский, —

Андрей извиняюще добавил:

— Тут, конечно, есть маленькая неточность. АН была не царской, а императорской. Но это прощительная поэтическая вольность.

Приведу еще один стишок, сочиненный нами вместе после опубликованной мерзкой карикатуры, на которой выдворенного А.И.Солженицына встречают с распростертыми объятиями Иуда, Брут и Кассий. Автор ее явно подпал под влияние Данте, начисто забыв о традициях русских, да и не только русских романтиков, для которых Брут был героем-тираноборцем. Больше часа мы пыхтели над переделкой пушкинского "К портрету Чаадаева". Андрей придирчиво отбирал каждое слово из принадлежавших нам двух строк, и в результате получилось:

Он вышней волею Небес
Рожден в России. Выдворен оттуда.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес.
У нас он тоже Брут... И Кассий, и Иуда.

Другой раз мне посчастливилось стать первоначальным толчком, вызвавшим поэтический порыв Андрея. Мы случайно встретились во дворе ФИАНа, зашли в "Академфигу", где я купил том Б.Рыбакова об авторах "Слова", а потом, не торопясь (Люся была в отъезде), побрели в сторону метро "Ленинский проспект". Дорога шла под горку и поэтому нравилась Андрею. Где-то на середине пути я вспомнил, что у меня в кармане лежит листок с текстом ходившей тогда по Москве эпиграммы. Вместе с листком наружу вытащались осводовские "корочки", служившие обложкой для проездного билета. Андрей поинтересовался:

— Что у тебя общего в ОСВОДом?

И я объяснил, что "корочки" — шальной подарок моего молодого приятеля, возглавляющего — для ради отметки об общественной работе — ОСВОД в своем научном заведении. Андрей стал расспрашивать, ему всегда хотелось побольше узнать о следующем за нами поколении. Потом мы несколько минут шли молча. Мне показалось, что губы Андрея слегка шевелятся, и я подумал, что он проговаривает про себя только что прочитанную эпиграмму. И тут он сказал:

— Смотри, что у меня получилось.

Ловкость, богиня, воспой Леонида, слугу Посейдона,
На Воробьевых Горах он возглавляет ОСВОД.
Плещучи крыльями, Дева-Обида от Синего Дона
Мимо Каялы-реки мертвых ведет хоровод.

Я пришел в восторг: гекзаметр, да еще рифмованный, что на Руси большая редкость. А Андрей со скромной гордостью обратил мое внимание на то, что в четверостишии есть еще и внутренняя рифма!

Последняя наша встреча была 8-го декабря, на похоронах Софьи Васильевны Калистратовой. Из Коллегии адвокатов на Пушкинской, где проходила гражданская панихида, в церковь Илии Пророка в Обыденском переулке катафалк шел большой петлей, проезжая Никитские Ворота. Андрей, Люся и я ехали сзади в одной машине, и всю дорогу продолжался рваный разговор, начатый еще на Пушкинской. Воспоминания о покойной перемежались спонтанными ассоциациями. Андрей пожаловался, что запамятовал прежнее название кинотеатра повторного фильма. "Унион", — подсказал я, и он как-то по-детски обрадовался. А в виду Мерзляковского переуллка он сказал, что прочился в 110-й школе (тогда 10-й) совсем недолго, никого там толком не знал, но вот сейчас, как ему передавали, бывшие ученики этой школы всю рассказывают фантастические истории о маленьком Сахарове, его успехах и тогдашнем всеобщем восхищении. Вот так и рождаются мифы.

Я спросил, видели ли Андрей и Люся любимый мною памятник мальчишкам из 110-й, погибшим на войне. Пять скульптурных портретов в полный рост, работы их одноклассника Даниэля Митлянского. Узнав, что доски с баснями Крылова на Патриках тоже его работы, Андрей стал уточнять местоположение памятника, и я объяснил, что он стоит не у старого здания школы в Мерзляковском, а около слепой стены нового — как раз напротив Храма Большого Вознесения. Тут Андрей прервал меня:

— В этой церкви не только Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Там венчались и мои папа и мама. А маленьким мальчиком меня приводили сюда причащаться.

Должно быть, Андрею было приятно это легкое пересечение собственной жизненной линии с линией Пушкина. Так мне тогда показалось...

8-го декабря исполнилось три года со дня смерти Анатолия Марченко. Во время отпевания многократно повторялись имена новопреставленной рабы Божией Софии и приснопоми-

наемого раба Божия Анатолия... Позже, когда служба кончилась, Андрей сказал:

— Как хорошо это поминальное объединение Софьи Васильевны и Толи!.. Оба они... "за други своя"...

Через несколько дней, перебирая в памяти подробности похорон, я сообразил, что часа за три до отпевания было еще одно объединение Софьи и Анатолия. На гражданской панихиде один из выступавших очень правильно сравнил Софью Васильевну с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Я решил обязательно сказать это Андрею. Но не успел...

Утром 15-го декабря я последний раз видел вблизи лицо Андрея. Спокойное лицо спящего. Только лоб и губы были холодные. И в углу рта, а может быть, мне показалось, запеклось маленькое белое пятнышко. Когда тело увезли, мы с Наташей ушли из дома, где уже начались похоронные переговоры с начальством.

Вечером стало известно, что посмертную маску привезли снимать Митлянского. И я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы Андрей говорил, что он больше верит гипсу посмертной маски Пушкина, чем стихотворному описанию Жуковского. Ведь Пушкин так мучился перед кончиной...

Но я видел лицо Андрея и верю, что он умер легкой смертью.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- стр. 169. "гениальный мужичок" — слова Пушкина о Шекспире.
стр. 169. "барьер имени". Героя романа Дюма зовут Эдмон Дантес.
стр. 177. Заметку о "Графе Нулине", написанном в два дня, 13 и 14 декабря 1825 года, Пушкин кончает фразой: "Бывают странные сближения".
стр. 193. "Честное купеческое слово" — см. последнее действие "Бесприданницы" Островского.
стр. 195. Луевы горы недалеко от корчмы на литовской границе ("Борис Годунов").
стр. 204. У "Илиады" болит живот! — концовка античного анекдота о богаче, который завел живой цитатник из обученных рабов.

СОДЕРЖАНИЕ

предыдущих номеров

(1 — 29)

"СИНТАКСИС" №1. *Н.Рубинштейн* — Когда труба трубила о походе; *Юлий Даниэль* — Выше других; *Лев Копелев* — О смертной казни; *Андрей Синявский* — "Темная ночь..."; *Александр Янов* — Идеальное государство Геннадия Шиманова; *М.Каганская* — Отречение. От "Машеньки" к "Лолите"; *Абрам Терц* — Анекдот в анекдоте; *М.Розанова* — Возвращение. Памяти Галича.

"СИНТАКСИС" №2. *А.Пятигорский* — В сторону Глюксмана; *Л.Ладов* — Несколько мыслей о России... *Олег Дмитриев* — Не называя имен (интервью); *А.Синявский* — Называя имена (комментарий); *Наталья Рубинштейн* — Дом без поэта; *И.Голомшток* — Встреча; *Жорж Нива* — "Вызов" и "провокация" как эстетическая категория диссидентства; *Абрам Терц* — Искусство и действительность; *Анджей Дравич* — Открытое письмо советскому писателю В.Богомолу.

"СИНТАКСИС" №3. *И.Жолковская (Гинзбург)* — Моя благодарность; *А.А.Зиновьев* — За что боролись, на то и напоролись; *Б.Шрагин* — Сила диссидентов; *Андрей Синявский* — В ночь после битвы; *Андрей Амальрик* — Несколько мыслей о России...; *Зиновий Зиник* — Соц-арт; *Майя Каганская* — Время, назад!; *Ю.Вишневская* — О памяти.

"СИНТАКСИС" №4. *Игорь Померанцев* — Око и слеза; *М.Розанова* — В кривом зеркале; *Луи Мартинез* — Похвальное слово русской цензуре; *Григорий Померанц* — Толстой и Восток; *Абрам Терц* — Отечество. Блатная песня; *И.Голомшток* — Феномен Глазунова; *Виктория Швейцер* — Братская могила.

"СИНТАКСИС" №5. *Эдуард Кузнецов* — Хэппи энд; *Абрам Терц* — Очки; *Е.Эткинд* — Наука ненависти; *Б.Шрагин* — Синдром "нормального человека"; *Игорь Померанцев* — Читая Фолкнэра; *Жан Катала* — Слово из тьмы; *Игорь Померанцев* — Старик и другие; *Лев Копелев* — Советский литератор на Диком Западе.

"СИНТАКСИС" №6. *Раиса Лерт* — Поздний опыт; *Григорий Померанц* — Сон о справедливом возмездии; *Александр Янов* — Дьявол меняет облик; *Милован Джилас* — *Вадим Белоцерковский* — Диалог; *Игорь Померанцев* — "Я на земле, где вы живете..."; *А.Синявский* — Один день с Пастернаком; *М.Розанова* — Пространство книги.

"СИНТАКСИС" №7. *Н.Лепин (Л.Е.Пинский)* – Парафразы и памятования.

"СИНТАКСИС" № 8. *Ален Безансон* – Об Андрее Амальрике; *А.Синяевский* – Сны на православную Пасху; *Луи Мартинез* – За мир и счастье; *Михаил Рейман* – Бухарин и альтернативы советского развития; *М.Розанова* – На разных языках; *Зиновий Зиник* – Подстрочник; *Александр Янов* – Отчего мы молчим? *Григорий Померанц* – Сны земли; *Генрих Белль* – Не плачь при них; *А.Синяевский* – Срез материала;

"СИНТАКСИС" № 9. *Ефим Эткинд* – Советские табу; Две рецензии из журнала "37"; *Генрих Белль, Лев Копелев* – Почему мы стреляли друг в друга? *Чеслав Милош, Томас Венцлова* – Вильнюс как форма духовной жизни; *Юлия Вишневская* – Введение в сравнительную доносологию; *А.Синяевский* – Достоевский и каторга; *Г.Померанц* – Князь Мышкин; *Г.Померанц* – Речь на похоронах Л.Е.Пинского; *Дмитрий Бобышев* – Большая и малая поэзия Натальи Горбаневской;

"СИНТАКСИС" № 10. *Ф.Горенштейн* – Кошелочка; *Михаил Рейман* – *Китайские впечатления*; *De Visu* – Сбывшееся пророчество; *А.Н.Кленов* – Пушкин без конца; *Сергей Довлатов* – Литература продолжается; *А.Синяевский* – О критике; *Саша Соколов* – На сокровенных скрижалях; *Томас Венцлова* – "Литовский дивертисмент" Иосифа Бродского; *М.Болховской* – Утопии в космический век; *И.Серман* – Григорий Гукковский; *В.Швейцер* – Открытое письмо Анастасии Цветаевой; Полемика по поводу открытого письма В.Швейцер А.Цветаевой.

"СИНТАКСИС" № 11. *Аноним* – Семь вопросов и ответов о русской православной церкви; *Михайло Михайлов* – Безответственность и недомыслие; *Борис Хазанов* – Величие советской литературы; *Ирина Белова* – Поколение, утратившее своих прозаиков; *Феликс Светов* – Чистый продукт для товарища; *Елизавета Мнацаканова* – Хлебников: предел и беспредельная музыка слова; *Борис Гройс* – О русской философии; *Зиновий Зиник* – Эмиграция как литературный прием; *Виктория Швейцер* – Возвращение домой; *Анатолий Гладилин* – Опять двадцать пять; Ю.Вишневская – Баллада о растлении Иммануила Канта; *Ю.Мальцев* – Письмо А.Д.Синяевскому;

"СИНТАКСИС" № 12. *Г.Померанц* – Акафист пошлости; *А.Н.Кленов* – Философия неуверенности; *Эмиль Коган* – "Марксистом можешь ты не быть..." *Ф.Розинер* – Посмертная хроника; *А.Синяевский (Абрам Терц)* – Река и песня; *Майя Каганская* – Шутовской хорюрод; *З.М.* – В "Вестник"? *Борис Гройс* – Мамардашвили и Пятигорский: "Символ и сознание";

"СИНТАКСИС" № 13. *Славомир Мрожек* – Страшный суд; *Ю.Домбровский* – Докладная записка; *А.Н.Кленов* – Виждь и внесли; *Борис Гройс* – Немного о плюрализме; *Зиновий Зиник* – Дева и монстр; *Борис Хазанов* – *ET RESURREXIT*; *Эдуард Лимонов* – Двойник; *Леонид*

Ицелев – Шампанское на четверых; *Михайил Рейман* – Документы кануна сталинщины; *А. Донде* – Критика и реабилитация русской истории; *Г. Нилов* – Возвращение бубнового туза;



"СИНТАКСИС" № 14. Последнее слово Гунарса Астры; *А. Синявский* – Солженицын как устроитель нового единомыслия; *Ф. Горенштейн* – Искра; *Жорж Нива* – "И не было ошибкой родиться"; *А.К. Жолковский* – Механизмы второго рождения; *А. Синявский* – Литературная маска Алексея Ремизова; *И. Голомшток* – Искусство в тоталитарном мире; *Наталья Рубинштейн* – Памяти Скандалиста с Васильевского Острова; *Джеймс Джойс* – Письма. Некролог. С. Беккет о Д. Джойсе; *Джеймс Джойс* – Два отрывка из "Улисса"; *Ю. Вишневская* – Гиперреализм повседневной жизни; *Вадим Крейденков* – Крупнейшая русская антология; *Б. Гройс* – Журнал "Мулета": наши новые язычники; *Эмиль Коган* – Колеса и тормоза истории; *Юрий Глазов* – Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин.



"СИНТАКСИС" № 15. *Эдуард Лимонов* – Стихи; *Абрам Терц* – Гости; *Г. Померанц* – Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса; *Мих. Вайскопф* – Рождение культа; *Ольга Матич* – Палисандрия: диссидентский миф и его развенчание; *Жорж Нива* – Пьер Паскаль или "русская религия"; *Борис Шрагин* – Похвала полемике; *Андрей Синявский* – Диссидентство как личный опыт; *И. Шамир* – Третья волна или Улисс и Циклоп; *А. Кустарев* – Дети солнца; *Игорь Померанцев* – Mit Blumen auch schön; *З. Зиник* – Воображаемое интервью с Владимиром Набоковым; *Б. Гройс* – Политика как искусство; *Дм. Бобышев* – Бахыт Кенжеев и Прекрасная Дама; История о том, как В. Аксенов вошел в "The League of Supporters" "Синтаксиса" и что из этого вышло.



"СИНТАКСИС" № 16. *Борис Шрагин* – Искупление Юлия Даниэля; *Зиновий Зиник* – Готический роман ужасов эмиграции; *П. Вайль, А. Генис* – Вся власть Сонстам; *Глория Мунди* – А где же ваши сонеты? *Наталья Рубинштейн* – Баллада о Робин Гуде; *Игорь Померанцев* – Брезгливость, Замешательство. Любовь...; *А. Жолковский* – Лев Толстой и Михаил Зощенко как зеркало и зазеркалье русской революции; Интервью с Лоренсом Дарреллом; *Лоренс Даррелл* – Фрагменты из Александрийского квартета; *Ольга Фрейденберг* – Будет ли московский Нюрнберг? (Из записок 1946-1948); *Илья Зданевич* – Борис Поплавский; *Игорь Ефимов* – Дневник книгогоя; *N.N.* "Ужасно досадно за "Синтаксис"..."



"СИНТАКСИС" № 17. *Леон Ржевский* – Коммунизм – это молодость мира; *Н.Я. Эйдельман, В.П. Астафьев* – Переписка из двух углов; *Ю. Вишневская* – Надсжды маленький оркестрик под управлением; *Борис Гройс* – Сталинизм как эстетический феномен; *П. Вайль, А. Генис* – Кванты истины. Проза Валерия Попова; *Абрам Куник* – Борис Хазанов. Аргумент к человеку; *Игорь Померанцев* – Довольно кровавой пищи; *Игорь Померанцев* – Стихи о литературных ситуациях; *А. Кустарев* –

Культура кружка; *О. Суркова* — Эйзенштейн, промеренный на аршин Чертока; *А. Синяевский* — Чтение в сердцах; *А. Кустарев* — Маска, я тебя знаю.

●
"СИНТАКСИС" № 18. *Збигнев Херберт* — Возвращение Проконсула; *В.П.* — "Кадры", "оттепель" и перспективы "перестройки"; *Игорь Голомшток* — Встреча в Париже; *М.Л.* — Записки Маши Семенович; *П. Вайль, А. Генис* — Химера симметрии. Андрей Битов; *В. Паперный, Е. Компанец* — Художники и граница; *А. Синяевский* — Изразцы; *Зиновий Зиник* — За крючками; *Д. Савицкий* — Выступление на конференции; *И. Померанцев* — На заданную тему; *Борис Гройс* — Жизнь как утопия и утопия как жизнь; *Абрам Терц* — Золотой шнурок; *И. Померанцев* — "Между пытками"; *Саша Соколов* — Palissandre: c'est moi; *А. Жолковский* — Посвящается С.; *К. Кузьминский* — Манон, но не Леско (в?).

●
"СИНТАКСИС" № 19. Памяти Виктора Некрасова; *Ю. Вишневская* — Смеро против Фив; *Александр Кустарев* — Свобода? Зачем? Для кого? *Лев Ракитин* — Трамвай мой — поле; *Максим Горький* — О русском крестьянстве; *А. Синяевский* — Сталин — герой и художник сталинской эпохи; *Г.М.* — Несколько рассказов о вожде; *Елена Зелинская* — Пепел Клааса стучит в мое сердце!; 1937; *В.А. Катанян* — К истории изданий.

●
"СИНТАКСИС" № 20. *Г. Померанц* — Риск надежды; *Ефим Эткинд* — Так-таки ничего?..; *Элвин Гулднер* — Будущее интеллектуалов и восхождение Нового класса; *А. Синяевский* — "Панорама с выносками" Михаила Кузмина; *Виктор Ворошильский* — Эпос и Этос; *А. Жолковский* — Диалог Булгакова и Олеси; *П. Вайль, А. Генис* — В Москву! Эдуард Лимонов; *Э. Лимонов* — Фрагмент; *И. Ефимов* — Свободы сеятель пустынный... *А. Волохонский* — Немного нового о пушкинской белке; *Архим Горюхин* — Песни села Горюхина; *И. Померанцев* — Под знаком вопроса; *Т. Горичева* — Пронзенные пустотой.

●
"СИНТАКСИС" № 21. *М. Розанова* — Перестройка и перестрелка; *Ю. Афанасьев* — Возможности и основы единства; *А. Синяевский* — Пространство прозы; *Ф. Искандер* — Рукой дурака ловят змею; *А. Герман* — "Я не вру..."; *О. Поцзов* — "Отстоять независимость культуры..."; *Н. Иванова* — Литература и история; *Г. Бакланов, О. Поцзов, А. Гладилин* — Из выступлений на заключительной дискуссии; *Андрей Битов (?)* — Некролог; *А. Кушнер* — Послесловие; С кем нам надо совпадать во взглядах? Самиздатская полемика; *Ю. Вишневская* — Православные, гвалт! *И. Шапиро* — Тодор Ткачук. Повесть в рассказах; *З. Зиник* — *Mea culpa*; *И. Померанцев* — Фантастическое в ранней прозе Н.В. Гоголя; *Д. Рейфилд* — Байрон сегодня; *А. Волохонский* — Из Декамерона; *В. Иофе* — Благая весть лесов.

●
"СИНТАКСИС" № 22. *А. Стрельный* — Лязг клинков; *Уильям И. Одом* — Как далеко может пойти советская реформа? *Н. Кленов* — Что такое перестройка? *Макс Вебер* — К состоянию буржуазной демократии в Рос-

сии; *Л. Гиршович* – Чародеи со скрипками; *Зиновий Зиник* – Двужычное меньшинство; *И. Померанцев* – Что еще делать с женщиной в лифте и другие рассказы; *Тимур Кибиров* – Из поэмы “Жизнь К.У. Черненко”.

●
“СИНТАКСИС” № 23. *С. Максудов* – “Диалог” с кривым зеркалом; *А. Кустарев* – Похвала в обществе; *Варлам Шаламов* – “Сучья война”; *А. Жолтковский* – “Аристократка”; *А. Синяевский* – Мифы Михаила Зощенко; *С. Лурье* – Правда отчаяния; *И. Ефимов* – Вера и неверие Льва Толстого; *З. Зиник* – Беженец; *Вагрич Бахчанян* – Повесть о том, как поссорились Александр Исаевич и Иван Денисович; *М. Айзенберг* – Новые стихи; *А. Битов* – “Ты один мне поддержка и опора”.

●
“СИНТАКСИС” № 24. Барселона: *La Perestroika*. *К. Любарский* – Перестройка и эмиграция; *А. Стреляный* – Постепенность – самоцель? Из выступлений; *Зин. Зиник* – На обратном пути; *А. Синяевский* – Похвала эмиграции; *С. Харламов* – Дело Тухачевского: мифы и реальность; *И. Померанцев* – Всхлипы по углам; *И. Метгер* – Из записной книжки; *В. Петрушевская* – Опять двадцать пять; *П. Вайль, А. Генис* – Попытка к бегству; *А. Битов* – Из цикла “Погребение заживо”; *А. Куник* – Василий Аксенов на “панели”; *А. Синяевский, Ю. Даниэль* – Диалог; *А. Френдли* – Спокойная совесть Юлия Даниэля; *Ю. Даниэль* – В районном центре.

●
“СИНТАКСИС” № 25. *Бахыт Кенжеев* – Послания; *П. Вайль, А. Генис* – Книга о вкусной и здоровой жизни; *Андрей Мальгин* – Письмо другу-литератору; *Михаил Эпштейн* – Блуд труда; *Г. Померанц* – Принципы либерального мироустройства и традиции субэкумен; *В. Швейцер* – Мандельштам после Воронежа; *Б. Гройс* – Между Сталиным и Дионисом; *В. Кулаков* – Обэриу, модернистский гротеск и современная поэзия; *Юлий Даниэль* – Обрывки воспоминаний; *С. Довлатов* – Соло на IBM; *И. Померанцев* – Памяти полячишки; *Д. Добродеев* – Два конца; *Тимур Кибиров* – Из книги “Общие места”.

●
“СИНТАКСИС” № 26. *И. Константиновский* – Варшавский сейдер; *А. Синяевский* – Русский национализм; *Т. Кибиров* – Послание Л.С. Рубинштейну; *Ханна Арендт* – Антисемитизм; *Л. Седов* – Типология культур по критерию отношения к смерти; *Бахыт Кенжеев* – Академику Шафаревичу по прочтении его исследования о русофобии; *И. Голомшток* – “Малый народ” О. Кошона и большая ложь И. Шафаревича; *Н. Иванова* – Пожилая гвардия; Донос в Конгресс.

●
“СИНТАКСИС” № 27. *В. Линецкий* – О русском национальном патриотизме; *Елена Дьякова* – Лето восемьдесят четвертое; *Г. Померанц* – В поисках святых; *М. Горелли* – Вселенские козявки; *Макс Вебер* – Переход России к псевдоконституционализму; *Семен Лунгин* – Тени на асфальте; *Татьяна Толстая* – Лимпопо; *Елена Ушакова* – Стихи; *Л. Добродеев* – Жид в Союзе; *Сергей Шац* – Как я пишу и др.; *Андрей Чернов* – Остров на побережье; *Георгий Ефремов* – Воля; *А. Битов, Р. Габриадзе* – Свободу Пушкину! *М. Кураев* – Как это было...; *А. Кушнер* –

Стихи; *А. Волохонский* – О жанрах евангельских историй; *Вл. Новиков* – К вопросу об адресате одной пушкинской эпиграммы; *Игорь Померанцев* – Русские заветные сказки; *А. Пушкин* – Избранное.

●
"СИНТАКСИС" № 28. *Вл. Новиков* – Неуместное; *М. Золотоносов* – Над пропастью во лжи; *Виктор Ерофеев* – Русская щель; *М. Холмогоров* – Подвиг; *А. Штейнберг* – Л. Шестов; *Марк Харитонов* – Об искусстве как о способе существования; *Дм. Молок* – Opuscula (Семантологические прогулки); *Вадим Линецкий* – "Когда погребают эпоху..."; *Л. Петрушевская* – Смысл жизни; *Игорь Померанцев* – Отдых на юге; *Б. Улановская* – Путешествие в Кашгар; *И. Метгер* – Автобиография; *И. Крупник* – Наугад.

●
"СИНТАКСИС" № 29. *Вл. Новиков* – Детский мир; *В.И. Порудоминский* – Начало марта. Семейные мелочи 1953 года; *Сергей Прокофьев* – Дневник-27; *Олег Давыдов* – "Война и Мир"; *Анри Волохонский* – О Калидасе; *Э. Лимонов* – Красавица, вдохновлявшая поэта; *А. Жолковский* – Лимонов на литературных Олимпиках; *Зиновий Зиник* – Незванная гостья; *Тимур Кибиров* – Послание Ленке и другие сочинения.

ЭМИГРАЦИЯ?

Вчера, сегодня, завтра...

— . —
Русское издательское дело на Диком Западе.

Кому? Зачем?

Скорее в "СИНТАКСИС" № 31!



СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Александр Агеев.</i> Зимние стансы в прозе	3
<i>Мих. Городинский.</i> Погоня	13
<i>Поэль Карп.</i> От науки к утопии и обратно	16

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>Л. Петрушевская.</i> Устроить жизнь	44
<i>Семен Лунгин.</i> Избирательная память	50

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>Олег Давыдов.</i> Никософские ремарки	59
<i>Вадим Линецкий.</i> И. Северянин и А. Солженицын	85
<i>П. Вайль, А. Генис.</i> Уроки школы для дураков	96
<i>Л. Воронина.</i> Время, обретенное в утратах	107

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

<i>Андрей Чернов.</i> "Тень Баркова"	129
<i>М.Л. Левин.</i> Прогулки с Пушкиным	165

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ. 210



Цена номера 75 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 260 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.



M. R.